А. С. Демин

ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА XV–XVI ВВ.

Литературное творчество древнерусского писателя характеризуется тремя основными компонентами – манерой повествования или изображения; идеями и представлениями; целями писателя. Самое неожиданное то, что, хотя мы многое знаем о памятниках, но меньше всего знаем цели их авторов, особенно неявные писательские устремления, которыми зачастую и определялись повествовательная манера, идеи и представления древнерусских книжников.

Данная статья посвящена выявлению авторских целей и является продолжением очерков, помещенных в предыдущем, одиннадцатом выпуске «Герменевтики древнерусской литературы». Во всех этих литературоведческих очерках, прежних и нынешних, произведения перебираются по отдельности, дается анализ литературных особенностей только избранных памятников и целей их авторов, пока только с минимальной привязкой целей к социально-политическим явлениям, то есть готовится лишь источниковедческая база для будущей связной и более глубокой истории древнерусского литературного творчества.

В предлагаемой статье обозреваются пять памятников XV–XVI вв.: «Сказание об Индийском царстве» второй редакции, «Сказание о Мамаевом побоище», «Большая челобитная» Ивана Пересветова, «Казанская история» и «Луцидариус». Перечисленные памятники настолько различны, что связывать

их вроде бы нет оснований. Однако с источниковедческой точки зрения они представляют сходный интерес: каждое из произведений уникально и ни на что в литературе не похоже; поэтому их трудно вставить в общую историко-литературную картину, а тем не менее сделать это необходимо. Такая попытка осмысления места памятников предпринимается в данной работе.

В результате очень неполных исследований названных памятников все же провидится (конечно, тоже очень предварительно) одна из линий развития древнерусской литературы с XV в. по середину XVI в.: можно убедиться, насколько озабоченней и серьезней становились произведения под грузом возраставших государственных и этнических проблем.

1. «Сказание об Индийском царстве»

Редакции. «Сказание об Индийском царстве» (или, как раньше его называли, «Сказание об Индейском царстве»), описывающее чудесные богатства Индии, произведение небольшое, а у текста небольших, особенно у развлекательных произведений обычно бывала бурная, временами почти авантюрная судьба. По наблюдениям В. М. Истрина, это сочинение об Индии богатой возникло в Византии, затем в XII в. с греческого языка было переведено на латинский язык с различными дополнениями, потом с латинского его перевели на сербский язык, а уж с сербского – неизвестно когда, может быть, в XIII, а может быть, в XIV в. – переведено оно было и на Руси[1], наверняка тоже с изменениями, так составилось древнерусское «Сказание об Индийском царстве». Что с ним делалось дальше – точно установить нельзя. Два старейших из дошедших до нас русских списков этого сочинения относятся уже к XV в.: один, кирилло-белозерский – к 1490-м гг.; другой, волоколамский – к самому концу XV в.[2]

Характер реально дошедшего в списках и потому представляющего для нас наибольшую ценность текста «Сказания» становится ясен благодаря интересной находке: В. М. Истрин обнаружил во второй редакции так называемой хронографической «Александрии», рассказывающей о жизни и приключениях Александра Македонского, около десяти отрывков,

сходных, иногда дословно, с дошедшим текстом «Сказания об Индийском царстве» Кто кем воспользовался? Вторая редакция «Александрии» появилась в начале XV в.[4] и, казалось бы, могла повлиять на дошедший текст «Сказания» второй половины XV в., однако в действительности следов такого влияния нет. Поэтому В. М. Истрин предположил обратное, – что как раз «Сказание об Индийском царстве» было использовано «Александрией», только «Сказание» использовалось в более раннем списке, чем списки, дошедшие до нас, может быть, в распоряжении редактора «Александрии» находилась даже первоначальная редакция «Сказания» конца XIV в., до нас не дошедшая[5]

Возможно, так оно и произошло, хотя представить по «Александрии», каков был текст первоначальной редакции «Сказания», очень трудно, почти что невозможно. Поиски списков первоначальной редакции «Сказания» пока мало что дали. Так, М. Н. Сперанский утверждал, что все-таки есть два списка первоначальной редакции: первый – XVI в., второй – начала XVII в. Однако первый список сгорел в 1812 г., а второй список содержит слишком много поздних изменений[6]. Какие изменения поэтапно претерпела первоначальная редакция – мы не знаем. Так что реально приходится ориентироваться лишь на «Александрию» второй редакции и списки «Сказания», условно говоря, тоже второй редакции. Ввиду отсутствия текста первоначальной редакции все выводы о смысле второй редакции «Сказания», конечно, обречены на большую или меньшую предположительность.

Сопоставление сходных отрывков «Александрии» второй редакции и «Сказания об Индийском царстве» все же позволяет убедиться в разной удаленности второй редакции «Сказания» второй редакции «Александрии» от их общего источника – от гипотетической первоначальной редакции «Сказания об Индийском царстве». Дело в том, что последовательность изложения богатств и чудес в сходных отрывках «Александрии» второй редакции и дошедшей редакции «Сказания» совершенно разная. «Александрия» второй редакции как приключенческое произведение рассказывает о чудесах и богатствах по землям и странам в порядке их посещения Александром Македонским

в его походах и путешествиях; и в числе этих земель названы не только и не столько Индия, сколько какие-то иные «въсточныя страны» (185), еще – некая «Мурьская (эфиопская) земля» (226), а также страна у «Чрьмнаго (красного) моря» (232). Во второй редакции «Сказания об Индийском царстве» же все эти богатства и чудеса отнесены только к Индии и систематизированы эти чудеса по темам; порядок изложения таков: какие есть в Индии люди, какие есть животные, какие есть драгоценные камни, каков ландшафт, каковы предметные занятия жителей, каково войско, каковы «полаты» и пр. Тут главная цель изложения – материальная. Думается, вряд ли в первоначальной редакции «Сказания» излагались в систематизированном виде все эти богатства Индии, а составитель второй редакции «Александрии» затем прихотливо разбросал эти богатства и чудеса по разным странам. Скорее всего, составитель второй редакции «Александрии», как известно, значительно расширивший описание путешествий Александра множеством вставок из многих дополнительных источников[8], внес некоторые сведения непосредственно об Индии, действительно, из первоначальной редакции «Сказания об Индийском царстве», а вот сведения о других странах взял из других, пока неведомых нам источников.

Составитель же второй редакции «Сказания» шел своим путем: он независимо от «Александрии» (поэтому в «Сказании» нет следов влияния «Александрии») скомпилировал, возможно, те же источники, но с совсем иной, развлекательно-материализирующей целью – не для описания походов Александра Македонского, а для гиперболизированной характеристики раритетов Индии. Причем следы поздней скомпилированности заметны и сейчас: при описании как будто бы единого Индийского царства во второй редакции попадаются довольно странные упоминания именно о разных странах и землях – о том, что же имеется «въ единой стране», а что есть «в ынои стране», или что делается «во инои земли», или какая еще «есть земля». Эти страны и земли, по «Сказанию», хотя и принадлежат индийскому царю, все же не сливаются собственно с Индией, у них есть свои цари и короли, которые приезжают к индийскому царю «да прочь едуть». Какие-то самостоятельные

страны в «Сказании» подразумевает индийский царь, вспоминая о своих регулярных походах: «егда поидемъ на рать, кому хощемъ болшеи работе предати», — архаическое выражение «работе (рабству) предати» означало покорение завоевателем именно внешних, независимых народностей или стран (например, в «Повести временных лет» и «Словах» Серапиона Владимирского)[9] Подобные глухие упоминания неких отдельных стран и земель или косвенные на них указания, по-видимому, и выдают систематизаторскую работу компилятора, бравшего сведения из источников о разных странах, а приписавших их Индии. Так или иначе (полной ясности нет, для проверки гипотезы нужны дальнейшие текстологические исследования), но из имеющихся наблюдений следует, что источники в «Александрии» подверглись изменениям в меньшей степени, а во второй редакции «Сказания об Индийском царстве» они перерабатывались в гораздо большей степени, — такова вторая, материально-развлекательная редакция «Сказания».

В этой дошедшей, второй редакции «Сказания об Индийском царстве» можно заметить и другие признаки поздней систематизации богатств и чудес по темам. Например, «Александрия» второй редакции рассказывает о немых людях, которые кормят своих детей в воде сырыми рыбами (168), — это естественно, ведь много удивительного встречается в дальних землях. В «Сказании об Индийском царстве» же немые люди упоминаются без детей, а в последующем рассказе «Сказания» уже иные люди кормят своих детей сырыми рыбами. Объяснить такое разделение сведений можно, пожалуй, позднейшими систематизаторскими усилиями составителя второй редакции «Сказания»: там, где он сообщал о разных физических типах людей в Индии, он упомянул и немых; а дальше, когда он стал повествовать о повседневных занятиях жителей, вставил замечание об особенностях детского кормления (правда, в латинском предшественнике «Сказания» немые люди и кормление рыбами тоже разделены[10] — тут тоже нужны текстологические разыскания).

Время составления. Датировка второй редакции «Сказания» остается расплывчатой. Судя по дошедшим старшим спискам,

вторая редакция «Сказания» возникла не позднее 1490-х гг. Это верхняя граница появления редакции.

Нижняя граница составления редакции еще менее отчетлива, так как о датирующих реалиях в тексте «Сказания» нельзя судить с уверенностью. Выручает то обстоятельство, что «Сказание» имеет краткое предисловие и еще более краткое послесловие, поясняющие, как появилось «Сказание», и содержащие как бы византийские реалии: византийский царь якобы заинтересовался богатствами Индии, и индийский царь послал ему описание своей страны. С одной стороны, в предисловии и послесловии имеются в виду исторические обстоятельства до взятия Константинополя турками в 1453 г. и падения Византийской империи, — поэтому в предисловии к «Сказанию» упомянут еще достаточно благополучный царь «Грецскыа земли» Мануил (видимо, Мануил II Палеолог, правивший с 1391 г. по 1425 г.), который шлет своего посла и «дары многыя», и византийское посольство уважительно принимают в Индии «с великою любовию и противу (в ответ) дав дары многы»[11]. С другой стороны, возможно, предисловие подразумевало положение Византии с начала XV в., когда после 1402 г. византийскому императору стала принадлежать лишь очень небольшая территория, остальное было потеряно[12], — поэтому индийский царь в предисловии к «Сказанию» заявляет, что если греческий царь продаст даже «землю свою Греческую всу», то вырученных средств не хватит на бумагу для описания Индии, и что индийский царь готов взять греческого царя себе на службу лишь вторым или третьим слугой. Таким образом, в предисловии, кажется, содержатся косвенные указания на исторические обстоятельства с начала до середины XV в. и, следовательно, если такого обрамления не было в первоначальной редакции и если составитель не фантазировал уж совершенно вне истории, то он создал вторую редакцию «Сказания» в течение XV в.: не ранее конца XIV – начала XV в. и, как уже было сказано, не позднее конца XV в.

Отнесение второй редакции к XV в., быть может, подтверждает бытовая реалия в самом «Сказании», где упоминаются два интерьерных зеркала: одно из них «стоить на 4-рехъ столпехъ златыхъ» (то есть тяжелое металлическое), а другое — «зерцало

цкляно», то есть стеклянное зеркало, стоящее в царской палате и не маленькое — в нем «зримо лице» человека[13] На Руси стеклянные зеркала вошли в быт правителей, пожалуй, не ранее XV в.[14], и для составителя второй редакции «Сказания», судя по тексту, сравнительно большие стеклянные зеркала уже не представляли диковинки, требующей особых пояснений об обиходном применении этого предмета.

Еще одна датирующая примета второй редакции «Сказания» хоть и не очень конкретна, но все-таки тоже указывает на XV в.: составитель относится к ограниченной власти индийского царя Иоанна как ко вполне привычному явлению. Ведь «надъ цари царь» Иоанн правит фактически только в своем городе, прочие области живут своей жизнью, время от времени Иоанну приходится выступать в поход для приведения той или иной (полузависимой или независимой) области к большей покорности. Постоянно кто-то «мыслить зло на своего господаря». Все это напоминает Русь XV в. с ее бесконечными феодальными войнами и еще не укрепившейся центральной властью.

Жанр и цель произведения. К какому жанру можно отнести вторую редакцию «Сказания об Индийском царстве», по-видимому, очень непохожую на первоначальную редакцию? Фактически возникло новое произведение.

«Хождение» ли это? Если продолжить сопоставление отрывков, сходных у «Александрии» и у «Сказания», то можно увидеть, что кроме систематизации сведений составитель второй редакции «Сказания» придерживался еще одного способа обработки своих источников — жесткого сокращения их сообщений. Прежде всего, он убрал характерную для жанра «хождений» массу названий удивительных людей и экзотических животных, не говоря уж о многочисленных географических названиях. Например, специально оговариваемые «Александрией» названия различных птиц (грифоны, метаголынарии), червей (каламандра), людей (чивадеше, тигрис), как правило, опущены составителем во второй редакции «Сказания», хотя сведения о них, теперь уже безымянных, сообщаются те же, что в «Александрии», но «Александрия» неукоснительно указывала названия этих существ, предметов и мест (188, 226 и др.), а правка в «Сказании» выглядит как позднейшая: ведь единичные ого-

ворки о названиях удивительных объектов во второй редакции «Сказания» все же остались («звезда именемъ Лувинарь», «имя древу тому – шлема») – это свидетельство того, что составитель второй редакции «Сказания» занимался сокращением сведений из используемых источников, но, как это нередко бывает, не всегда выдерживал принятый им принцип сокращения[15]

Опустил составитель второй редакции «Сказания» и регулярные в его источниках упоминания о путешественниках – куда и как они приходят, что видят и что чувствуют. Не прочерчивается в «Сказании» никакого связного маршрута передвижения по описываемому царству – приключений нет. В результате из «Сказания» вытравлены все внешние признаки жанра «хождений».

Послание ли это? До попадания на Русь «Сказание» бытовало на Западе под названием «Послание царя индийского Иоанна греческому царю Эммануилу» (Epistola Iohannes regis Indorum ad Emmanuelem regem Graecorum)[16] Однако в древнерусской второй редакции «Сказания» не осталось и признаков жанра послания, нет обращений к адресату, а, судя по краткому предисловию к этому произведению в русских списках (кроме кирилло-белозерского списка, где предисловие опущено[17]), слово «послание» было понято как «посольство», и произведение превращено в монологическую речь индийского царя Иоанна перед посланным к нему греческим послом.

И к ораторскому жанру «Сказание» не относится: присутствие слушателя в монологе индийского царя никак не ощущается. К тому же в царской речи постоянно смешивается изложение от первого лица единственного числа с изложением от первого лица множественного числа – царь говорит: «есть у меня» и тут же: «есть у нас»; упоминает «мое царство» и тут же «нашю землю»; в соседних фразах: «престанемъ глаголати» и «не глаголю» и пр. Иными словами, речь царственного рассказчика-оратора перебивается повествованием от лица то ли путешественников, то ли каких-то иных коллективных очевидцев индийских чудес. Жанр первоначальной редакции «Сказания», вероятно, оказался размыт до неузнаваемости во второй редакции.

Мало того, составитель второй редакции «Сказания» был склонен выкидывать всякого рода смысловые пояснения, про-

странное и связное повествование своих источников превращать в более сжатое и отрывистое изложение, отчего в его тексте, что типично для поздней переделки, умножились мелкие неясности и несообразности.

В результате подобных преобразований новый «жанр» произведения стал все-таки как-то проглядывать во второй редакции «Сказания», которая превратилась, по сути дела, в густую, скажем так, инвентарную опись индийских богатств[18]

«Инвентарность» «Сказания» проявилась не только в обилии перечислений. В почти любой сводной инвентарной описи при объединении разных источников возникают повторы, соответственно есть они и в «Сказании». Например, в сравнительно небольшом тексте «Сказания» трижды повторяются сведения о драгоценном камне кармакуле. В первый раз говорится: «есть камень кармакулъ, тои же камень... в нощи же светитъ». Вторично этот камень упоминается так, будто о нем еще не сообщалось: «камень — имя ему кармакулъ, в нощи же светить камень тои драгы...» Наконец, и в третий раз приводятся те же сведения: «два велики камени кармакаулъ, в нощи светять». Повторы, по всей вероятности, возникли в результате сводки разных источников.

Или еще пример повествовательного повтора — рассказывается о чудесных царских «полатах»: в одной «полате огнь не горить; аще ли внесутъ, в тои часъ огнь погаснеть»; затем повтор — «иная полата... В тои же у мене полате огнь не горить; аще внесутъ, то борзо погаснетъ», — судя по небольшой разнице выражений, один и тот же мотив мог быть сдвоен в «Сказании» из разных источников.

В конце текста второй редакции «Сказания» инвентарно-накопительная цель изложения у составителя проявилась совсем откровенно. Царь в заключение рассказывает, сколько людей обедают у него, и вдруг добавляет такие речи: «Есть у мене земля, в неи же суть люди, очи у нихъ в челехъ. Есть у мене полата злата, в неи же есть... А во дворе моемъ...», — но это темы повторные: о диковинных людях уже сообщалось в начале «Сказания» специально, наполнению царских «полат» ценными предметами и царскому «двору» также уже были посвящены, так сказать, особые разделы во второй половине «Сказания»; так что новые

упоминания о тех же объектах явились механической добавкой к основному изложению. Прибавочность сведения о странных людях с очами в челе подтверждается сопоставлением с «Александрией». В «Александрии» один из эпизодов повествует о людях «Мурьской земли»: одни — трехногие «трепяцдци», другие — девятисаженные «волотове», третьи — «мнокли человеци, а око имъ в чели» (226). В «Сказании» же трехногие люди и девятисаженные великаны перечислены в самом начале второй редакции, а те, у кого «очи в челехъ», оторваны от основного перечисления и упомянуты лишь в самом конце произведения, — явно как восполнение почему-то пропущенного сведения, причем, еще раз подчеркнем, как восполнение по обычаю инвентарной описи, в виде фактографического довеска, без концовки или каких-либо слов, служащих концовкой, — то есть такое добавление ничто не мешает продолжить. Недаром еще в середине произведения говорится: «И пакы же престанемъ глаголати», — но нет, опись или инвентарное сообщение продолжается дополнительными сведениями.

Такой «жанр», «инвентарная» повествовательная форма — не совсем новинка в древнерусской письменности XV в. Сошлемся, например, на большую опись драгоценных подарков, которые получил Иван III от новгородцев, помещенную в «Софийской первой летописи» под 1476 г.

Однако вторая редакция «Сказания об Индийском царстве» — это по своей цели все-таки не хозяйственно-документальная, а в большей степени развлекательная опись заманчивой страны. О заманчивости стоит сказать подробнее. Индия кажется заманчивой уже тем, что она находится, вероятно, где-то около рая, земного рая, эдема: посредине этого царства «идеть (течет) река Едемъ изъ рая», а царство простирается до мест, где «соткнуся небо з землею».

Представление о том, что Индия находится около рая, очень старое, а ново в «Сказании» изображение многих иных достоинств Индии. Страна эта не так страшна и пустынна, какими обычно изображались в апокрифических памятниках обширные пространства перед раем (например, в «Слове о трех монахах», путешествовавших к раю). Конечно, есть там препятствия: море песочное, по нему ходят огромные песочные валы — «того

же моря не преходить никаковъ человекъ, ни кораблемъ, ни которымъ промыслом (способом)»; есть горы; есть и страшилища: множество пугающих полулюдей-полузверей и свирепых животных. Однако это своего рода внешняя, отпугивающая охрана удивительного царства.

Страна же та вовсе не безлюдна, особенно в центральной части. Людские сборища там чрезвычайно велики: например, в составе царского войска едут 26 колесниц, у каждой колесницы «служатъ по 100 тысящь конникъ, а по 100 тысящь пешие рати», то есть собирается войско в 5 миллионов 200 тысяч человек, не считая тех, которые пищу везут; кроме того, у царя «на трапезе по вся дни» обедают больше 2 тысяч человек.

Привлекательно это царство тем, что оно к тому же и христианское: правит им царь, он же одновременно «попъ... поборникъ по православнои вере Христове»; на церемониях несут кресты, в том числе с изображением Господня распятия; проповедники публично обращаются к царю с христианской сентенцией о неизбежности смерти[19]; в одном только царском дворе стоит 150 церквей; в соборной церкви служат около 450 священнослужителей; за обедом у царя сидят в подавляющем большинстве церковники — патриархи, митрополиты, протопопы и пр. Есть в царстве христианские святыни: «лежитъ апостолъ Фома»; некоторые церкви «сътворены Богомъ». То есть страна — вполне цивилизованная.

Старые «Хронографы» уже давно сообщали о том, будто Индия — это страна христианская[20]. «Сказание» же добавило новые блага этой стране, моральные и особенно материальные. Притягательна эта страна своим социальным и физическим благополучием: здесь нет «ни татя, ни разбоиника, ни завидлива человека... ни ужа, ни жабы, ни змеи, — а хотя и воидетъ, ту и умретъ». Люди и полулюди сосуществуют мирно.

Но наиболее заманчива эта страна изобилием и доступностью драгоценностей. Царь индийский так и заявляет: «моя земля полна всякого богатства». Всюду разнообразные драгоценные камни, иногда величиной «аки корчаги»; всюду золото, жемчуг; «полаты многы златыя, и сребреныя, и древяни, изнутри украшены, аки небо звездами, а покровены златомъ»; «верху техъ полатъ учинена два яблока златы, в них же вковано по

великому каменю самфиру»; «кресты и стязи (знамена) велици злати с драгими камении и с великыми женчюги зделани» и т. д. и т. п.

Самое любопытное заключается в том, что все эти ценности достаточно доступны для человека, живущего или оказавшегося в той стране. Даже разъясняется, где и как сподручнее ценности собирать: так, с гор «течетъ река подъ землею не велика; во едино время разступается земля надъ рекою тою, и кто узревъ да борзо воскочитъ в реку ту, того ради да бы ся о немъ земля не сoступи, а что похватитъ и вынесетъ борзо, оже камень тои драгии видится, а иже песокъ подхватитъ, то великы женчюгъ возмется». Прочие ценности все на виду и в пределах досягаемости: вот «блюдо несутъ другое злато, на нем же драгии камень и четеи (отборный) женчюгъ»; вот «на всехъ же столпехъ по драгому камени» и пр. Доступны всем людям и иные ценности, например пряности: «рожается перець — все людие по то ходятъ».

Еще более любопытно то, что все сокровища и редкости в «Сказании» не только доступны, но подготовлены к использованию людьми в сугубо практических, бытовых, охранительных и оздоровляющих целях. Разные драгоценные камни служат фонарями – «в нощи же светятъ, аки в день», а также предохраняют от чародейства – «да бы потворници (колдуны) не могли чаровъ творити», а еще помогают сохранить храбрость – «да бы храбрость наша не оскудела». «Миро» (масло) вытекает из некоторых деревьев, которым если «помажется человекъ, старъ или молодъ, боле того не стареется, а очи его не болятъ». Особые «черви точать ис себе нити» – шелк, «и в техъ нитехъ наши жены делаютъ намъ порты», которые при загрязнении не моют водой, а прокаливают в огне, так снова «чисти будутъ». Особые зеркала в царской «полате» – одно предохраняет человека от умножения грехов, показывая ему «грехи, яже сотворилъ отъ юности своея»; другое зеркало сразу выявляет заговорщиков против царя, у такого злоумышленника «в зерцале томъ зримо лице его бледо (бледно), аки не живо».

«Сказанию» свойственна даже своеобразная бытовая демократичность: ведь за обеденным столом у индийского царя численно преобладают незнатные попы, дьяконы и певцы, а вот

«чаши подаютъ» и «поварню ведаютъ» цари да короли «опроче (помимо) бояръ и слугъ».

О главной цели составителя второй редакции «Сказания об Индийском царстве» можно только догадываться по заманчивым картинам Индии, потому что никаких прямых пояснений о целях дошедший текст не содержит. Если сопоставить вторую редакцию «Сказания» с общей социально-политической обстановкой на Руси XV в., то можно выдвинуть предположение о публицистической направленности «Сказания», о том, что составитель попытался создать литературную утопию или некий идейный «противовес» либо компенсацию тому, чего на Руси не было: на Руси XV в. не было такого многолюдства и необозримого войска, не было такого благополучия и такого изобилия богатств и общедоступных драгоценностей и, конечно же, не существовало такой демократичности. Однако никакой связи с Русью в памятнике не проводится, нет и намека на мысль «вот бы нам такое».

Скорее всего, верно другое предположение об авторской цели: вторая редакция «Сказания об Индийском царстве» с ее заманчиво-географическими картинами была составлена в расчете не только на развлекательность, но и на человеческую любознательность. Оттого в предисловии к «Сказанию» говорилось о любознательном византийском царе, а в самом «Сказании» упоминалось о преградах любознательности людей: «и за темъ моремъ не ведаетъ никаковъ человекъ, есть ли тамо люди, нетъ ли»; «горы пусты высокы, их же верха человку не мощи дозрети»; «горы высокы и толсты, не лзе на нихъ человеку зрети». Так что перед нами памятник, деловито объединивший некоторые развлекательные мотивы, своего рода их реферат.

Аналогии. В русской литературе XV в. можно указать ряд произведений, по своей развлекательно-географической цели более или менее аналогичных второй редакции «Сказания об Индийском царстве» и даже помогающих уточнить его датировку. Всё это «хождения» или сочинения, близкие к «хождениям». Судя по ним, история подобной «развлекательно-любознательной» литературы складывалась приблизительно следующим образом.

Любопытство к каким-то другим, не русским богатствам и благам проявилось на Руси еще до «Сказания». Самую раннюю аналогию «Сказанию об Индийском царстве» представляет «Сказание о Вавилонском царстве», или «Слово о Вавилоне», датируемое концом XIV – первой третью XV в. и рассказывающее о путешествии послов в Вавилон. «Слово о Вавилоне» – произведение «приключенческое», но оно начинает «инвентаризирующую» традицию, ориентируется именно на материальную читательскую любознательность, содержит уже знакомые нам развлекательно-предметные мотивы. Оно повествует о богатствах и чудесах далекого фантастического места – града Вавилона, охраняемого гигантским страшилищем змеем. Это место так же, как Индия, привлекает своей нечуждостью христианству: здесь есть церковь с фресками, изображающими деяния святых, и есть святыня – гробы с мощами трех святых отроков, пострадавших за отказ поклоняться языческому идолу; это место и посещают христиане.

В «Слове о Вавилоне» присутствуют и прочие, как и в «Сказании об Индийском царстве», развлекательно-предметные мотивы – драгоценности тоже оказываются вполне доступны людям и предназначены для практического применения: Вавилон давно покинут жителями, а ценности царя Навуходоносора сохранились – иди и распоряжайся ими, тем более что проникнуть туда все-таки можно. Для путешественников неведомо кем специально выставлены дорогие кубки, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, – они из них пьют неоднократно и оказываются «навеселе». Для путешественников же поставлены ларцы, содержащие «злато, и сребро, и камение многоценное и драгое», – берут «себе, яко могут отнести», несут и византийскому царю, который интересовался этими ценностями. Находясь в Вавилоне, путешественники входят «в цареву полату» Навуходоносора, а тут выложены два царских венца «от камени самфира, измарагды, и жемчюга великаго, и злато аравита (аравийского)»[21], чтобы возложили их на византийских царя и царицу.

Почти одновременно со «Словом о Вавилоне» появилась еще одна ранняя аналогия второй редакции «Сказания об Индийском царстве» – вторая редакция хронографической

«Александрии», созданная, как уже было сказано, в начале XV в.; точнее, в качестве аналогии «Сказанию» выступают обширные добавления преимущественно о богатствах и чудесах разных стран, в том числе Индии, вставленные во второй редакции «Александрии», но не имеющие текстуального соответствия в «Сказании об Индийском царстве», то есть аналогии, объяснимые не общим источником «Александрии» и «Сказания», а общностью целей у составителей вторых редакций обоих произведений.

В этих добавлениях в «Александрии» второй редакции встречаются отсутствующие в первой редакции «Александрии», но сходные со «Сказаниями» об Индийском и Вавилонском царствах и закрепляющие «инвентаризирующую» традицию специфические материально-любознательные мотивы, как, например, упоминание о желании Александра увидеть сокровища и богатства индийского царя или упоминание святыни — гробов трех отроков в Вавилоне; богатства и ценности также предстают доступными людям — указывается, через какие входы, ворота и воротца к ним подходить, как их «имать» или ловить; ценности и редкости также имеют для каждого человека сугубо практическое применение — «на целбу и красоту» (200), «на потребу» и пр., например: «и кои убо человекъ того зелья корень на собе носить, то злыи духъ бегаеть от него» (196); или, например, камень измарагд (изумруд) ценится как зеркало: «лице видети в нем» (153); другие камни во второй редакции «Александрии» явно чаще, чем в первой редакции (там только один случай), используются в качестве фонарей; и т. д.

Такого рода фантастико-материальные авторские устремления просуществовали, кажется, не очень долго. Традиция эволюционировала. К середине XV в. любознательность авторов распространяется на предметы более реальные и приземленные, примером чего служит созданное неизвестным путешественником и уже вовсе не развлекательное «Хождение на Флорентийский собор» 1439—1440 гг. В произведении речь идет уже не о фантастических, а о реальных христианских странах, посещенных путешественником в Европе. Правда, его рассказ еще содержит, но между многим прочим, те же старые предметно-развлекательные мотивы, что об Индии или Вавилоне: какие

в странах великие святыни – «ту и сам святый Марко лежит»[22]; как богаты палаты и столпы – «позлащены», «с камением драгым и жемчюгом» (472); как многолюдны церемонии – «ходили съ кресты по граду 300 попов» (476) или огромное число обедающих «седоша за единымъ столом» (470); с какими ценностями связаны занятия жителей – «рукоделие же их таково: шиют златом и шолком», «сукна скорлатныи (дорогие) делают» или «делают... аксамиты съ златом» (482); какие диковины – «черви шолковыя... видехом, как шолкъ той емлють с нихъ» (484) и пр. Но теперь особенно разработан автором «Хождения» рациональный мотив доступности именно бытовых благ всем людям тех стран: водопровод – «воды приведены... текут по всемъ улицам по трубам» (472), «на реце устроено колесо... воду емлет из реки и пущает на все домы» (474); другие удобства: «устроены часы, колокол великъ, и коли ударит, на весь град слышати» (480); «божница (храмина) велика.. за тысящу кроватей... то ж устроено Христа ради маломощным пришелцем и странным (странникам) и иных земель» (482) и т. п. Цель переменилась: развлекательность уступила место деловитости.

Во второй половине XV в. надежды на чужие богатства, блага и удобства начинают быстро развеиваться, традиция внутренне преобразуется, о чем свидетельствует «Хождение за три моря», написанное Афанасием Никитиным около 1475 г. Описание Индии в «Хождении» Афанасия Никитина содержит порожденные авторской любознательностью мотивы, внешне аналогичные «Сказанию об Индийском царстве»: Никитин тоже много внимания уделяет драгоценным камням в Индийском государстве («родятся в нем камение драгое»[23] «на салтане кавтан весь сажен яхонты» – 468; «взял бесчислено яхонтов да камени всякого драгаго много множество» – 470; и пр.); рассказывает Никитин и об украшенных строениях («маковица злата съ яхонты» – 468) и различных редкостях («родится шолкъ... родится перець» – 464), о многолюдных церемониях, в том числе обеденных («на всяк день садятся за софрею (за скатерть, на трапезу) по пятисот человекъ» – 470); упоминает о колдуньях («жонки все... веды... осподарев морят зелиемъ» – 452) и о святынях («лежит баба (праотец) Адамъ на горе на высоце» – 462). Но все это рассказывается совсем уж деловито, развлекатель-

ности – никакой, и настроение Афанасия Никитина противоположно той, можно сказать, романтической заинтересованности в чужом мире, которую проявляли предыдущие описания; Никитин пишет: «нет ничего на нашу землю... на Рускую землю товару нет» (452); «иже кто по многим землям много плавает, во многия беды впадают и веры ся да лишают кристьяньские» (464).

По-видимому, к концу XV в. развлекательные сочинения о чужих странах и далеких благах перестали вызывать прежний интерес, нового на эту тему не писали, в традиции произошел перелом, и у писателей возобладало иное умонастроение: блага и богатства, пусть и не такие большие, как в дальних странах, надо искать прежде всего в своей собственной стране. Возможно, поэтому взоры книжников, в первую очередь составителей отнюдь не развлекательных житий и повестей, теперь уже лишь мимоходом касавшихся материальных вопросов, обратились к своей старине, и, например, в 1480-х гг. к «Житию Александра Невского» было присоединено в качестве установочного предисловия описание идеальных красот и благополучия древней Русской земли из «Слова о погибели Русской земли» [24]. И далее в других произведениях стали появляться разнообразные мотивы исконно русских богатств: то в «Житии Авраамия Ростовского» сообщается о находке большого клада («медян съсуд польн... Имь же бо съсудом златым (в нем же сосудам золотым), и поясом (поясам) златым, и чепем (цепям) не мощьно цене предати (нельзя оценить). Сребру же и иным некым драгым не мощьно поведати» [25]); то в «Повести о Луке Колочском» говорится об обретении бедняком огромного богатства: «богатства много безчислено собра. И постави двор себе, яко некий князь, храмы светлыи и велици, и слуг много собра... во утварех украшени. И трапеза его много брашна имееши» и т. д. [26]; то нищий «отрок» в «Повести о Тимофее Владимирском» получает «басманы (сумки) великие, полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ камений» [27] Примеры можно умножить.

Для «хождений» же с конца XV в. мотив чужих богатств и драгоценностей стал совсем не характерен. Объяснить смену авторских устремлений можно так: русским книжникам хватало и своего отечественного добра – успешное хозяйственно-по-

литическое развитие Руси в XV в. подкосило под корень одну из экзотических тем древнерусской литературы. Отсюда можно сделать вывод, что в нарисованной общей картине, пусть и отрывочной (свежая развлекательность приключенческих произведений – затем усушение развлекательности в описях стран – далее рациональное внимание к странам – наконец, сосредоточение на самих себе), наиболее естественное место второй редакции «Сказания об Индийском царстве» – это первая половина XV в.[28], когда «осерьезнивание» темы еще только началось. Развлекательные произведения с акцентом на предметно-материальных мотивах вновь появились лишь в русской литературе второй половины XVII в., но уже как фарс.

2. «Сказание о Мамаевом побоище»

Самое детальное древнерусское произведение о подготовке и проведении Куликовской битвы было составлено, судя по новейшим научным данным, в начале XVI в. или даже в 1521 г., возможно, коломенским епископом Митрофаном[29] и первоначально, вероятно, не имело заглавия (что было в порядке вещей). Сочинение начиналось примерно с такого торжественного авторского вступления: «Хощу вам, братие, начати повесть новыа победы, како случися брань на Дону православным христианом з безбожными агаряны, како възвысися род христианскый, а поганых уничижи Господь и посрами их суровство...» На основе этой вступительной фразы и стали формироваться разные заголовки уже в ранних списках повести. В одних заголовках ключевым стало слово «победа»: «Начало повести, како дарова Богъ победу...» В других заголовках ключевым выступило слово «брань»: «Сказание о брани...» Но возобладали в списках заголовки, упоминающие «побоище»: «Повесть о побоищи Мамаеве...» «Сказание о Мамаевом побоище и похвала...»[30] Позднее, не ранее XVII в., получил распространение и несколько иной заголовок: «Сказание о Донском бою и похвала...» Еще позже, но еще в XVII в., произведение иногда называли: «Сказание известно о нашествии Мамаеве...» Многие списки повести имели индивидуальные заголовки или по-разному компилировали выражения из старых заголовков. Все это

показывает, как настойчиво, но по-разному книжники пытались определить суть данного, казалось бы, совершенно понятного памятника. А суть памятника, особенно повествовательная манера его малоизвестного автора, действительно, была не такой уж простой.

Чувства персонажей. Укажем заметную литературную особенность всего произведения: автор постоянно упоминал о сильнейших, гиперболизированных чувствах персонажей. Например, в повести великий князь московский Дмитрий Иванович представал всегда в глубоких переживаниях – преимущественно печальным, унылым, горестным, тужащим, плачущим и рыдающим: «пригнувъ руце к персем своим, источникъ слезъ проливающи»[35]; «слезы, аки река, течаше от очию его» (41); «слезами мыася» (47) и т. п. Русское войско, напротив, выглядело, как правило, бурно радующимся: «мнози же сынове русскые възрадовашяся радостию великою... правовернии же человеци паче процьветоша радующеся» (38); «грядуще же весело, ликующе, песни пояху» (47) и пр. Мамай пребывал в дьявольском гневе и ярости: «акы неутолимая ехыдна, гневом дыша» (26); «неуклонно яряся... неуклонным образом ярость нося» (28); «и пакы гневашеся, яряся зело» (48). Второстепенные персонажи «Сказания» также были подвержены чувствам. Положительные персонажи глубоко печалились. Так, русские княгини стояли «въ слезах и въ склицании сердечнем... слезы льющи, аки речьную быстрину; с великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим» (33). Отрицательные персонажи – страшно злились: татары всегда «злые», союзник Мамая Ольгерд Литовский – «нача рватися и сердитися» (36) и т. д.

Зачем автору понадобилось так напирать на чувства персонажей? Все это, на первый взгляд, выглядит как проявление так называемого литературного этикета, которому следовал автор повести. Но за пределы литературного этикета вышла результативность чувств: ведь именно чувства стали определять деятельность персонажей в «Сказании». Например, Мамай не просто продумал свой поход и напал на Русь, но, в первую очередь, внутренняя страсть побудила его сделать это: «начатъ подстрекати его диаволъ и вниде вь сердце его напасть роду христианскому» (25). Сердечная страсть заставила Мамая ставить самые крайние

цели: «научти его, како разорити православную веру» – «сядем и Русью владеем» (25–26). Страсть подвигла Мамая к публичности: «начатъ хвалитися... и нача подвижен быти... нача глаголати къ своим еулпатом, и ясаулом, и князем, и воеводам, и всем татаром». Страсть толкнула Мамая на немедленные, быстрые действия: «И по малех днех перевезеся великую реку Волгу со всеми силами». Страсть затмила Мамаю разум: «ослеплену же ему умомъ».

Точно так же влияли чувства, и не обязательно злоба, на действия других отрицательных персонажей в «Сказании». Например, Ольгерд Литовский «велми рад бысть», и уже от радости разрослись его намерения: «А мы сядемъ на Москве и на Коломне; ...княжение Московское... разделим себе» (27). От радости он стал быстрым: «И посылаеть скоро посла к царю Мамаю». И точно так же страсть сделала таких людей безумными: «Не ведаху бо, что помышляюще и что се глаголюще, акы несмыслени младые дети».

Однако и на дела положительных персонажей чувства воздействовали сходным образом. Так, под влиянием эмоций великий князь Дмитрий Иванович действовал быстро: «по всей Русской земли скорые гонци разославъ» (30), «и въскоре посла весть» (37); регулярно превращался в пылкого оратора, иногда наедине, но чаще публично произносившего многочисленные и большие речи: «велми опечалися... и пад на колену свою, нача молитися» (28); «из глубины душа нача звати велегласно» (39) и др. Чувства подстегивали память. Даже жена Дмитрия Ивановича великая княгиня Евдокия от горя «сяде на урундуце» и вспомнила о давней несчастной Калкской битве с татарами: «От тоа... великого побоища татарскаго и ныне еще Русскаа земля уныла» (33). В общем, чувства персонажей выступили в «Сказании» важнейшим фактором развития событий.

Такая повествовательная манера была достаточно необычной для древнерусской литературы. Ранее двигателем событий служили мысли героя или вести, им услышанные. Но ни в одном из предшествующих древнерусских произведений, включая многочисленные источники «Сказания» и различные воинские повести, роль чувств не получилась такой большой, как в «Сказании».

По изображению чувств ближе всех к «Сказанию о Мамаевом побоище» стоит подробная «Летописная повесть» о той же битве, созданная лет за восемьдесят до «Сказания», в 1440-х гг. (или позже), и в «Сказании» затем использованная¹ В «Летописной повести», как и потом в «Сказании», Мамай тоже гневался, великий князь Дмитрий Иванович и жены русские тоже проливали слезы и пр. Однако в отличие от «Сказания» в «Летописной повести» чувства персонажей не выступали постоянным двигателем событий. Вот, например, Мамай «възбуявся и възгордяся и гневаяся, и стоя три недели со всемъ своимъ царствомъ» Мамай никуда не кинулся под влиянием чувств, а хоть и в гневе, но стоял три недели на одном месте. В «Летописной повести» чувство зачастую одолевало персонажа лишь после какого-нибудь события. Так, «Мамаи же, слышавъ приходъ великаго князя Дмитрия Ивановича со всеми князи русскыми и со всею силою к реце к Дону и сеченыя своя видевъ, и възьярися зракомъ, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, и наполнися, акы аспида некая, гневомъ дышуще» (35), — ясно сказано, что ярость Мамая была вызвана действиями Дмитрия Ивановича; но эта ярость не выступила причиной действий самого Мамая.

Обычно же в «Летописной повести» упоминания чувств персонажей только как декор сопровождали описания событий. Типична, например, такая сценка: «И се поиде великая рать Мамаева и вся сила татарьская. А отселе поиде велии князь Дмитрии Иванович со всеми князи русскыми, изрядивъ полкы противу поганых со всеми князи русскими, со всеми ратми своими. И възревъ на небо умиленыма очима, и въздохнувъ из глубины сердца, и рече слово псаломьское: "Братие! Богъ намъ прибежище и сила" И абие съступиша обои силы велици на долгъ час вместо...» (37) и т. п. — «умиление» Дмитрия Ивановича стоит тут как бы не на месте (сначала пошел на татар, а потом, словно спохватившись, стал молиться); «умиление» — это всего лишь положенное украшение такого рода эпизодов.

Что же касается «Сказания», то в нем можно еще отметить необычную переплетенность чувств. Это видно по тому, как многообразней, чем раньше в литературе, стали переживать персонажи в «Сказании». Так, например, великого князя Дмитрия Ивановича автор изобразил охваченным одновре-

менно разными, противоположными или сложными чувствами: Дмитрий Иванович «нача сердцемъ болети, и наплънися ярости и горести, и нача молитися: "...подобаеть ми тръпети..."» (29), – подобное сочетание ярости, горести и смирения героя было невиданным в литературе, тем более в предыдущих сочинениях о Куликовской битве.

И далее в «Сказании» Дмитрий Иванович одновременно и «плача и радуася: о убиеных плачется, а о здравых радуется» (47), – это сочетание чувств также было не совсем обычным. Кроме того, на протяжении изложения у Дмитрия Ивановича неоднократно и сильно менялись настроения: вот «князь же великий прослезися», но ему говорят: «просвети си веселиемъ очи сердца» – и князь «нача утешатися» (29–30); но снова «великому же князю нужно (тревожно) есть», и затем снова «князь же великий обвеселися сердцемъ» (31); вот князь готов расплакаться, но «самъ мало ся удръжа от слезъ, не дав ся прослезити» (33); вот «князь же великий нача думати» в нерешительности, но ему советуют «буйными глагола глаголати», и князь уже решительно «взьехавъ на высоко место» и пр. (37–39), – Дмитрий Иванович в «Сказании» жил гораздо более напряженной жизнью, чем он же в других произведениях о Куликовской битве.

Чувства прочих персонажей в «Сказании» тоже стали необычно многогранными. Так, лютый Мамай «скрегча зубы своими, плачуще гръко» (45), – и злится, и досадует, и горюет. Олег Рязанский «начать боятися... нача опалатися и яритися» (35), – боязнь смешалась с яростью.

Конечно, сочетания и перемены чувств у персонажей «Сказания» не отличались большим разнообразием. Например, подобно Дмитрию Ивановичу Дмитрий Ольгердович тоже «нача радоватися и плакати от радости» (36); «мнози же сынове русскые възрадовашася радостию великою», но затем «унываюТь» (38), а потом «аки лютии влъци... начаша... сещи немилостивно» (45), – радость сменяется горем, а после гневом; эти небогатые наборы чувств характерны для «Сказания». Но раньше в произведениях и их не было или почти не было.

В описаниях общей обстановки, особенно в серии батальных сцен «Сказания», напряжение чувств в еще большей степени давало знать о себе. Странно описал автор, к примеру, выезд

русского войска из Москвы. С одной стороны, погода благостна и войско спокойно: «Солнце... на въстоце ясно сиаеть», «солнце добре сиаеть... кроткый ветрецъ вееть», «синиа небеса», «урядно убо видети въйско... а, с другой стороны, как раз нет ни благостности, ни тихости у выезжающего войска: «аки соколи урвашася... и възгремеша своими златыми колоколы и хотять ударитися на многыа стада... хотять наехати на великую силу татарскую» (33), — сочетаются и кротость, и агрессивность. Противоречивость повествования можно было бы объяснить неудачным пересказом «Задонщины» автором «Сказания», если бы такие случаи не повторялись в «Сказании» неоднократно. Далее войско продолжает свое чинное шествие «по велицей шыроце дорозе... успешно, яко медвяныя чяши пити»; но одновременно и с вызывающей энергией, так что «стукъ стучить и громъ гремить по ранней зоре» (34), — тут отнюдь не неумело, а осмысленно использована «Задонщина» автором «Сказания» для создания эмоционально неоднотонных картин.

Затем в «Сказании» рассказывается о смотре русского войска накануне сражения, и противоречивые эмоциональные мотивы автор особенно выразительно переплетает в этом рассказе. С одной стороны, ясная тихость свойственна собравшемуся на поле русскому войску: знамена «аки некии светилници солнечнии светящеся въ время ведра; и стязи ихъ золоченыа... тихо трепещущи... шоломы злаченыя... аки заря утреняа въ время ведра светящися». С другой же стороны, некая бурность пронизывает войско: «стязи... ревуть... хоругови аки жыви пашутся, доспехы же... аки вода въ вся ветры колыбашеся... яловци (флажки) же шоломовъ их аки пламя огненое пашется» (39), — и полностью ведрено, и сильно ветрено одновременно. И смотрящие на это войско испытывают противоречивые чувства: «Умилно бо видети и жалостно зрети таковых русскых събраниа... Сему же удивишася...», — умиление, жалость, удивление, потому что все видимое перестало быть статичным, пробудилось, засверкало и задвигалось.

Причины необычно сильной эмоциональности персонажей «Сказания» не ясны. Конечно, без развития литературных традиций тут дело не обошлось. Но действовали и иные факторы. Одна из возможных причин — философская, то есть мироощу-

чение автора: герои переживали потому, что не были уверены заранее в том, как развернутся события, только надеялись. Ощущение неожиданности хода жизни не созрело в ясное самопредставление у автора «Сказания», оно «сквозило» через перечисление деталей при описании чувств персонажей и в рисуемых картинах, но лишь иногда формулировалось, притом очень расплывчато — в виде кратких отсылок о непредвидимости Божьей воли: «Господь же нашь Богъ... елико хощеть, тъ и творить..., како Господу годе, тако и будеть» (25); «Господь Богъ можеть живити и мертвити» (27); «господу Богу вся възможна» (40); «велий еси, Господи, и чюдна дела твоа суть: вечеръ въдворится плач, а заутра — радость!» (46) и т. д.

Показательно, что этот мотив многообразия и непредопределенности Божьего выбора совершенно отсутствует в памятниках Куликовского цикла, предшествовавших «Сказанию о Мамаевом побоище». Близких аналогий этому философскому предощущению великих исторических перемен у автора «Сказания», кажется, нет вообще ни в более ранних произведениях, ни в литературе первой половины XVI в. Указанная уникальная литературная особенность «Сказания», сводившаяся к непривычной, еще неясной идее о жизни, в которой может случиться все, возможно, сбивала с толку древнерусских книжников, которые отчасти и поэтому давали популярному произведению разные названия — от оптимистического до минорного.

Другая возможная причина напряженной эмоциональности персонажей «Сказания» — политическая, связанная с новой, правда, еще не прочно сформировавшейся исторической обстановкой, в которой автор составил свое произведение. Ведь начало или первая четверть XVI в. — это время создания единого обширного Русского государства. Стали укрупняться масштабы замыслов и деяний. Недаром один из персонажей «Сказания» признавался: «Аз чаях по преднему (по-прежнему), яко не подобаеть (не возможно) русскым князем противу въсточнаго (то есть ордынского) царя стояти, и ныне убо что разумею?» (35).

В соответствии с новой государственной реальностью автор «Сказания» намного чаще, чем, например, даже в «Задонщине», стал употреблять название «Русская земля», причем, пожалуй, уже в значении большого государства, в которое входит «зем-

ля Московскаа» и ее «далниа отокы» – Новгород Великий, Белоозеро, Двина (26), а также с добавлением «Новогорода Нижнего» и «бояринов галитцкых» и пр. (48).

Укрупнилось государство – усилилось и напряжение в делах, его касавшихся. Эта связь косвенно отразилась в «Сказании». Действительно, там, где персонажи говорили о крупнейшем объекте – о Русской земле, их охватывали очень сильные чувства. Так, Мамай призывал: «Поидем на Русскую землю и обогатеемъ русскым златом!.. Будите готовы на русскыя хлебы!» – и при этом «нача подвиженъ быти и диаволомъ палим непрестанно» (26). Или, например, великий князь Дмитрий Иванович поминал тех, кто «просвети всю землю Русскую» и поставлен «светити всей земли Русской» – и «источникъ слезъ проливающи», «любезно... припадаа» (30–32). Далее, когда супруга великого князя Евдокия молилась Богу, поминая Русскую землю: «да славится имя твое святое в Русьстей земли», – она тоже сильно переживала: «с великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим» (33). Таких частых упоминаний Русской земли и сильных чувств у персонажей нет ни в пространной «Летописной повести», ни, тем более, в «Задонщине».

Однако надо сказать, что новые, но еще недостаточно определившиеся исторические обстоятельства все-таки неотчеливо отразились в «Сказании». Обостренные чувства персонажей нигде прямо не ставились автором в связь с их мыслями о Русской земле, хотя упоминания чувств и Русской земли регулярно лишь соседствовали в эпизодах. Кроме того, вместо понятия «Русская земля» автор чаще предпочитал использовать более расплывчатые обозначения. Так, в «Сказании» употребляется обозначение – «сынове русскыа», иногда приближающееся к названию «Русская земля». Это видно из следующего примера. Великий князь Дмитрий Иванович вопрошает: «Кто болши мене в русскых сыновех почтенъ бе?..» (43), – ясно, что имеется в виду нечто более широкое, чем «русское войско» или «русские власти», а именно – «русский народ». Подобное словосочетание отсутствует в пространной «Летописной повести».

Так вот, когда в том или ином значении «русскыа сынове» или просто «русскыа» упоминаются в «Сказании», то персонажи обязательно проявляют сильные чувства. К примеру, когда «сы-

нове же русскыа наступиша на великиа поля Коломеньскыа», то «князь же великий... з братом своимъ... видяще... и възрадовашяся» (34); великому князю «умилено бо видети и жалостно зрети таковых русскых събраниа» (39)»; великий князь «сердцем боля кричаше, а слезами мыася, и рече: “Братиа, русскыа сынове...” ...нача плакати и глаголати: “Братья моа... сынове русские...”» (47); «рече же князь великий: “ русскые сынове...” ...И прослезися на длъгъ час» (48). В «Летописной повести» великий князь таких бурных чувств не испытывал в схожих ситуациях. Однако в «Сказании» и на этот раз усиление чувств персонажей автор прямо не ставил в зависимость от укрупнения политических понятий, которыми персонажи стали оперировать.

Точно так же обстоит дело с обобщающим понятием «христианство», лишь дважды употребленном в «Летописной повести», но многократно используемом в «Сказании», причем в расширенном виде — «все христианство», «все православное христианство». Соответствие этой категории «Русской земле» тоже не совсем ясно: то ли одна шире другой, то ли у́же, то ли они равны; ср.: «велика туга и попечение належить великому князю Дмитрию Ивановичю Московьскому и всему православному христианству от безбожнаго Мамаа» (36), — под всем христианством подразумевается и Московская земля, и Русская земля, и нечто более широкое.

Упоминание «всего христианства» в «Сказании» обычно также сопровождалось сильными чувствами персонажей, чаще всего радостью. Например, князь Андрей Ольгердович призывает своего брата: «Поидемъ, брате, на помощъ великому князю Дмитрию Московскому и всему православному христианству», и брат его Дмитрий Ольгердович, согласный с предложением, «нача радоватися и плакати от радости» (36). Взаимное согласие вызывает у братьев радость — это традиционно для памятников. Но почему радость персонажа такая сильная, вплоть до слез? Можно предполагать, что из-за масштабности поставленной задачи — послужить «всему православному христианству». Однако сам автор «Сказания» никак не подчеркнул подобной зависимости, и поэтому сохраняется доля неопределенности в объяснении феномена обостренной чувствительности персонажей «Сказания», тем более что во многих эпизодах упоминания

сильных эмоций не соседствуют с понятиями явно государственного значения.

Нечеткость связи необычно сильных чувств персонажей с расширившимися государственными понятиями при отсутствии близких литературных аналогий «Сказанию» наводит на предположение о том, что по своей цели «Сказание о Мамаевом побоище», в отличие от предшествующих повествований о частной воинской славе отдельных русских князей, явилось первой, еще несовершенной и непоследовательной попыткой прославления нового, более крупного явления — военного величия России. Большая политико-философская цель еще недостаточно определилась у автора.

3. «Большая челобитная» Ивана Пересветова

Иван Семенович Пересветов, судя по тому, что написал он сам о себе (а других сведений нет), был человек не очень книжный, а служилый и «приезжий». Выходец из Литвы, якобы потомок русского богатыря Пересвета, павшего на Куликовом поле, Пересветов нес рыцарскую службу у короля польского, у короля венгерского, у короля чешского, затем побывал у воеводы молдавского и, наконец, году в 1538 переехал на службу к русскому великому князю восьмилетнему Ивану IV. В течение 11 лет так и не понадобились услуги Ивана Пересветова; за это время он составил 7 или 8 сравнительно небольших и не слишком складных сочинений, которые в 1548 или 1549 г. в виде двух «книжек» осмелился подать лично теперь уже царю, чем и стал известен. Какие результаты это имело для Ивана Пересветова, мы не знаем, а его сочинения кто-то гораздо позже, вероятно в XVII в., свел в единые сборники Полной и Неполной редакции его сочинений, много раз потом переписываемые.

Итоговым произведением Ивана Пересветова, вобравшим в себя также темы его предыдущих сочинений, считается так называемая «Большая челобитная» царю. Ей предшествовала «Малая челобитная» — это действительно челобитная. А вот «Большая челобитная» — сочинение причудливое по форме, которое сам автор в тексте называет то ли «памятью», то ли «книжкой», а собственно челобитенное обращение использует

лишь один раз: «бьет челом холоп твой государевъ» (604). В списках Полной редакции сборника сочинений Пересветова, в том числе в самых ранних дошедших списках 1630-х гг., это странное произведение имеет и нечто вроде заголовка: «Мудрость греческих философов, и латынских дохтуровъ, и Петра волоского воеводы»[38]. Дал ли это название сам Иван Пересветов или последующие редакторы, остается неясным, но такое название (где в списках могут стоять слова и «мудрость», и «мудрости») напоминает названия нравоучительных произведений типа «Мудрость Менандра», «Премудрость Соломона», «Премудрости Иисуса Сирахова» и указывает на то, что его основное содержание тоже составляют изречения.

Однако Пересветов составил не сборник абстрактных изречений, а собрал слышанные им «речи... из ыных земель и королевствъ... от многихъ мудрыхъ людей, и дохтуров, и философов» (606), а также и читанные им «речи», «что пишут мудрыя философи и дохтуры о благоверном царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии» (612), в особенности же речи валашского (молдавского) воеводы Петра IV Рареша, – все это и есть «мудрости философьския» (622), «мудрости воинския» (602) и «мудрости великой грозы царьской» (606), переданные Иваном Пересветовым молодому царю. Таким образом, «Большая челобитная» по своей литературной форме могла бы представлять собой дипломатический отчет, «статейный список» посла об иностранных «речах», если бы Пересветов хотя бы участвовал в посольстве. Но ничего подобного не было и в помине.

«Речи», собранные Пересветовым, в качестве литературного целого также напоминают официальную запись о длительном обсуждении каких-либо дел перед принятием решения. Ведь Пересветов, по его словам, объединил «речи» Петра Волосского, например, о том, что «он про тебя, государя благоверного царя, и про твое царьство говорит на всяк день и у Бога просит», о чем спрашивает, о чем «добре дивится», чего «не хвалит», что, по его мнению, «не надобет», а что «годится» (608, 610, 614). «Речей», обсуждающих положение дел на Руси, в «Большой челобитной» изложено, пожалуй, больше 30.

Как раз в это время в русских правительственных кругах резко увеличились по частоте и по числу участников всякого рода

обсуждения дел[40], соответственно увеличилось и количество излагаемых речей в официальных сочинениях и документах. Для примера укажем произведение, близкое по времени своего написания к «Большой челобитной» Пересветова. Это повесть «О приходе крымского царя Сафа Киреа на Русскую землю къ Оке-реке на берегъ» в 1541 г., данной повестью завершается третья редакция «Воскресенской летописи», составленная в Москве в 1542—1544 гг.[11] Значительное место в этой официальной повести занимает рассказ об обсуждении предстоящих действий, приводятся более десяти довольно длинных речей царя, митрополита, различных бояр, воевод и всего войска.

На фоне указанного официального произведения и иных произведений того же рода и того же времени видно, насколько все-таки был далек Пересветов как писатель от манеры русского официально-исторического повествования XVI в., от принятой в таких произведениях логически выверенной последовательности изложения и от их фразеологии[12]. Общая композиция «Большой челобитной» Пересветова сбивчива, без какой-либо системы следуют «речи» или их пересказ, советы царю, исторические примеры, предсказания и предупреждения, похвалы и моления, много повторов.

Исследователи уже давно отметили главную литературную особенность «Большой челобитной» обилие афоризмов, преимущественно об управлении государством. Например, о «правде»: «Правда — Богу сердечная радость, а царю — великая мудрость» (602); «коли правды нетъ, ино то и всего нету» (612); «Богъ не веру любит, — правду» (618); «силнее всего — правда» (620). Не попытался ли Пересветов набросать что-то вроде политического трактата? Нравоучительный тон в «Большой челобитной» вроде бы присутствует. И воевода Петр, и прочие персонажи все время наставляют и учат.

Однако слишком пестрое, бросающееся в глаза обилие афоризмов и изречений в древнерусском произведении обычно служило признаком иного литературного жанра — эмоционально взвинченного послания, далекого от высокой политики и от строгой логичности изложения. (Таково, например, «Моление Даниила Заточника».) И действительно, «Большая челобитная» Ивана Пересветова подчеркивает больше внешнюю яркость

приводимых изречений: «Годится... таковыя речи златом роспи-сати» (607), но никакого последовательно, отчетливо и спокой-но проповедуемого учения «Большая челобитная» Пересветова не содержит. Так, несмотря на многие афоризмы о «правде» (например, еще: «Истинная правда Христос есть... Нетъ силь-нее правды в Божественном Писании» – 612; «истинная прав-да – Христосъ... Да оставил нам Евангелие – правду» – 618), все-таки остается неясным, что такое «правда» по Пересветову[43] Афоризмы на разные темы следуют вне какого-либо порядка. То о богатых: «Всегда богатые о войне не мыслят, а мыслят о упо-кое. Хотя и богатырь обогатеет, и онъ обленивеетъ». И тут же о щедрости: «Щедрая рука николи же не оскудевает и славу царю собирает» (610).

Мысли, высказанные в «Большой челобитной», в общем, не стройны, сама форма высказываний резко различна. Даже афоризмы разнотипны; то вдруг излагаются в повелительно-инфинитивной форме: «Воинника (воина) держати, как сокола чредити (содержать), и всегда серца имъ веселити, а ни в чем на него кручины не напускати» (610); то афоризм теряет форму и развертывается в поучение: «Котора земля порабощена, в той земле все зло сотворяются: татба, и разбой, и обида, и всему царьству великое оскужение, всемъ Бога гневят, диаволу угождают» (620); или афоризм является частью рассуждения: «А царю как без воиньства быти? Воинником (воином) царь силен и славен» (616); а иногда афоризм – это недоговоренное объ-яснительное замечание автора: «От Бога написано: комуждо по деломъ его» (608).

Иван Пересветов создал (если опять-таки это сделал он сам, а не позднейший редактор) не продуманный политический трак-тат и не претендующий на официальность дипломатический отчет о том, как оценивают Ивана IV за границей, а естествен-ное своей нестройностью и наивностью личное посланийце, главную цель которого составило вольное отражение впечат-лений и надежд не слишком ученого автора по поводу дел госу-дарственных и своих личных. Это видно из его неоднократных очень непосредственных, нередко просторечных обращений к царю: «И как полюбится тебе, государю, службишко мое, холопа твоего?» (604, 624). Или: «Приметил ли еси, государь, Петра, во-

лосково воеводу?» (602). Или еще: «одиннатцать летъ минуло, не могу доступити тебя, государя благоверного царя великого князя. Кому не подамъ память, и оне до тебя, государя, велможи твои, не донесутъ» (606). Пересветов и сам определяет, хоть и косвенно, свое внутреннее состояние: он, приехав в Россию, оказался не у дел, за границей «оставивши службы богатыя и безкручинныя» (624), то есть теперь, в момент написания челобитной, он находится в «кручине» и не хочет такого печального положения, когда «не будет царь мыслити о воинстве... а на воинники свои великие кручины напустит» (602).

«Кручина», переживаемая автором, оказала воздействие, свойственное личностным посланиям: все персонажи, упоминаемые Пересветовым, тоже находятся в состоянии аффекта или испытывают сильные чувства по поводу дел государственных. Так, на каждом шагу цитируемый Пересветовым валашский воевода Петр рассуждает «с великими слезами» (612), «со слезами радеючи» (618); поговорил, да и «заплакал» (612); «добре дивится... и говорит» (614) и пр. Греки и сербы тоже «великим плачем плачутся» (604). Не менее часто поминаемый царь у Пересветова то «будет веселитися» (602), то «кручину... великую приимает» (622), то «ему сердце разжигают вражбами» (602), то в нем «разжигают и великую любовь» (622). Широк диапазон чувств у Бога: что-то «Господь любит» (618, 620), но еще на большее «гневается неутолимым гневом своим» (618). Показательно для личностного послания, что Пересветов высказывается зачастую именно о «сердцах», то есть о чувствах и настроениях персонажей: например, надо «воинником сердца веселити» (610), «возрастивши (вдохновивши) им сердца воиником своим» (620); напротив, у вельмож «сердца доброго (смелого) нету» (610). Особенно часто нравилось Пересветову отмечать у Бога «сердечную радость» (602, 606, 612, 616, 620, 622). А вот у библейских израильтян «сердце ихъ окаменело» (620) и т. д. Чувства и настроения Пересветов упоминает в общем охотнее, чем «мудрость», а разум не упоминает совсем: даже ангелов характеризует категорией настроения: «те службою своею не скучают» (616).

Свои государственные идеалы Пересветов излагает тоже эмоционально, но довольно отрывочно и бессвязно. Он надеет-

ся, что «лукавые судьи, яко от сна, возбудятся, да и посрамятся от делъ своихъ лукавых»; что в царевом отношении к воинам наступит перелом и царю можно будет «любити ихъ, аки отцу детей своих»; что, если бы турецким султаном была принята «вера християнская, ино бы с ним и ангели беседовали» и пр. Чувства у Пересветова и тут преобладают над умом.

«Большая челобитная» свидетельствует, что, несмотря на общепризнанный ныне статус публициста, Иван Пересветов не являлся ни великим мыслителем, ни крупным писателем. Это был беспокойный служака, желавший «верно служити, сколко Богъ поможетъ» (604); от снедающего его служебного «печалования» он и брался за перо.

Но почему в процессе писания Пересветов смешивал жанры и стили дипломатического отчета, официального исторического повествования, собрания премудрых афоризмов, челобитной и просторечного посланийца? Это получилось потому, что Пересветов объединил в «Большой челобитной» все основные темы своих предыдущих сочинений по принципу: «братия, разсуждайте сами себе от всякия вещи»[44]. О ком и о чем только не написал Пересветов в «Большой челобитной»: о поведении царя и управлении государством, о вельможах и богатых, о войске и оружии, о судьях и судах, о купцах и налогах, о Византии и Риме, о Турции и Казани, о евреях и армянах, о Боге и о себе и т. д., – крупные темы перемешаны с мелкими. Видимо, острая необходимость решать сразу множество разнотипных и разномасштабных практических задач, государственных и личных, и побудила Пересветова создать такое смешанное произведение, как «Большая челобитная».

К середине XVI в. эта необходимость решения множества задач сразу, как бы без разделения их на мелкие и крупные, ощущалась не только Иваном Пересветовым, но и другими авторами внутренне разнородных произведений, сочетавших черты теоретического трактата, практического руководства, полемического сочинения и какого-либо привычного повествовательного жанра. Таков был, например, «Домострой» царского приближенного Сильвестра Благовещенского кричаще разностильное произведение, регламентировавшее весь объем деятельности человека, от государевой службы до мельчайших

домашних забот, и заканчивавшееся личным «Посланием и наказанием ото отца к сыну». Такова была «Повесть о Петре и Февронии Муромских» митрополичьего приближенного Ермолая-Еразма, содержавшая вроде бы житие, но с большим учительно-богословским трактатом в начале, а затем местные фольклорные легенды, но изложенные бюрократическим языком, и акафист блаженным в конце. Все три произведения использовали для самообозначения слово «память», имея в виду обилие предлагаемых советов и образцов деятельности[45]

Однако властям, пожалуй, мало что пригодилось из писаний этих беспокойных авторов: Ивана Пересветова царь «не приказал никому» (606); Сильвестр Благовещенский то ли сам отошел от дел, то ли попал в опалу; писательская деятельность Ермолая-Еразма вызвала явное недовольство властей. Чем кончили эти реформаторы, мы не знаем. Но сам Иван Грозный в своих посланиях затем продолжил такое почти варварское экспрессивное смешение стилистических и жанровых традиций: чем большим количеством проблем был озабочен автор, тем более экспрессивной и вызывающей получалась смесь, тем сильнее нарушались литературные традиции, тем острее ощущалась потребность в новом языке и новой манере повествования, соответствующих изменившимся историческим обстоятельствам.

4. «Казанская история»

Этот памятник называют по-разному: «Сказание», «Повесть», «История о Казанском царстве», «Казанская история», «Казанский летописец». Сочинение посвящено взятию Казани Иваном Грозным и является очень дельным и подробным обзором исторических событий, слегка приправленным соответствующей риторикой. Творение это огромно и содержит 101 главу, которым предшествует небольшое авторское вступление. По косвенным данным памятник удается датировать 1564–1565 гг., но автор его так и не установлен[46].

Своеобразие поэтики. Уже сразу со вступления выделяется тема, одна из главнейших и самая интересная в «Казанской истории», – изображение Казанского царства и казанцев. Во вступлении автор дает общую характеристику Казани, обращая свои

воры «на *презлое* царство сарацынское, на *предивную* Казань»[17] может озадачить совершенно откровенная противоречивость характеристики: Казань – одновременно и «презлая», но и «предивная». Эта положительная оценка Казани как «предивной» (не «дивной», а «предивной») тем более необычна, что дана она, так сказать, по высшему разряду: ведь эпитетом «предивный», не таким уж частым в древнерусских произведениях, обозначалось нечто, из ряда вон выходящее в области христианских ценностей, – предивные чудеса, предивные знамения, предивные чудотворцы (именно таково словоупотребление от «Успенского сборника» XII–XIII вв. до «Степенной книги» XVI в.), а иногда так обозначались предивные строения Царьграда (например, в «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.», послужившей, кстати говоря, одним из источников «Казанской истории»). И этот-то «христианский» эпитет в «Казанской истории» вдруг оказался примененным к мусульманской Казани.

Еще более ясен подобный перенос «хорошего» символа на «плохой» объект в последующей общей характеристике Казани. Автор следующим образом говорит о расцвете Казанского царства как наследнике Золотой Орды: «И паки же возрасте царство и оживе, яко древо измершее от зимы солнцу обогревшу и весне. От злого древа, реку же, от Златыя Орды, злая ветвь произыде – Казань» (326, гл. 11). Казань – злая ветвь – это понятно. Но вот сравнение с весной всегда прилагалось к явлениям только положительным; да и в «Казанской истории» автор только что сходным образом выразился о Руси: «И тогда наша Руская земля освободися от ярма и покорения бусурманского и начатъ обновлятися, яко от зимы и на тихую весну прелагатися» (310, гл. 5). И вдруг «весна» перенесена на Казань.

В столь странном словоупотреблении нельзя только видеть отмеченное Д. С. Лихачевым «разительное нарушение литературного этикета», «разрушение системы литературного этикета» в «Казанской истории»[18]. Это явление поэтики требует объяснения. Разрушение этикета произошло не стихийно, оно совершено не по невежеству, не по забывчивости и не от равнодушия, но и не из-за стремления автора к парадоксам.

Разрушение этикета привело к явному сходству в изображении русских и казанцев. Так, «Казанская история» в разных ее

главах содержит внешне не связанные друг с другом характеристики двух выдающихся воевод — казанского воеводы Аталыка и русского воеводы Симеона Микулинского. Хотя характеристика казанского воеводы, конечно, в общем, отрицательна, но она при всем том пронизана массой положительных мотивов, перекликающихся с возвышенной характеристикой русского воеводы.

Автор начинает характеристику казанского воеводы с особого эпитета, — с упоминания «*силнаго*» Аталыка (352, гл. 19), как потом и Симеон предстает «*силенъ*» (384, гл. 26); автор вспоминает «*похвалнаго* воеводу казанского» (352), и так же им оценен потом «*прехвалны*... воевода князь Симеон» (492, гл. 67). Подобные эпитеты можно было бы принять за объективные, без экспрессии, обозначения качеств персонажей, если бы не совпадали и явно экспрессивные детали в их характеристиках, выражающие даже восхищение автора. У обоих воевод кони летают, словно крылатые: Аталыка «понесе конь его... аки *крилатъ*, конь его реку прелете» (352); у Симеона «коня его мнети, аки змия *крылата*, летающи выше знаменъ» (492). Обоих воевод автор хвалит за меткость: Аталык «*стреляше* версты дале в примету (попадал в цель больше чем за версту)» (354); и Симеон мог «на обе руки *стреляти в примету* и не погрешити» (384). Обоим воеводам никто не может противостоять: Аталык таков, что обычно «руский воевода или воинъ *противъ его* выехати и с нимъ дратися *не смеяху*» (354); Симеон тоже таков, что «противнии же... *не могуще* ни мало стояти *противу его*» (492). Обоих воевод страшатся: от Аталыка «страх наших обдержа» (357); от Симеона казанцы «страхом одержими» (492).

Однако автор «Казанской истории» сходно изобразил не столько Аталыка и Симеона, сколько казанцев и русских вообще. Сами-то эти воеводы в конечном счете получились противоположны обликом: у Аталыка «очи же его бяху кровавы» (354), а Симеон «радостенъ очима» (384); Аталык напоминает «буявола» (354), а Симеон — «аггела Божия» (492) и пр. Автор «Казанской истории» ввел в характеристику Аталыка мотивы, напоминавшие не столько о Симеоне персонально, сколько о типично русских богатырях, — вроде тех богатырей, которые изображены в «Повести о разорении Рязани Батыем», тоже использованной

«Казанской истории». Аталык в «Казанской истории» «наезжал... на сто человекъ удалых бойцов... и, многихъ убивъ... разсецаше *надвое* и *до седла*... Величина же его и ширина, аки *исполина*» (354); все это созвучно «Повести о разорении Рязани», где каждый из дружинников Евпатия Коловрата «ездя, бьяшеся един с тысящею», а сам Евпатий Коловрат, «*исполин* силою», «богатырей Батыевых побил, ових *на полы* пресекоша, а иных *до седла* краяше»[49]

Сходство изображения казанцев и русских вообще проявилось еще в том, что некоторые положительные черты воеводы Симеона (да и прочих русских персонажей) автор настойчиво отмечал хотя и не у Аталыка, но у казанцев тоже. Симеон «силенъ *в мужестве*» (384), «ратникъ бе велий и *мужественне* зело» (494, гл. 67); но и казанцы – «мало таковых людей *мужественых*... во всей вселенней обреташеся» (472, гл. 59). У Симеона красиво блестят доспехи и оружие: его видят «аки огненна всего яздяща на коне своемъ и мечь и копие его, аки пламень, метающися...» (492); но и казанцы предстают «со блещащимся оружиемъ» (376, гл. 25). И напротив, некоторыми отрицательными чертами Аталыка и казанцев хотя и не Симеон, но русские обладают тоже. Аталык и казанцы свирепы, вид у Аталыка «аки у *зверя* или человекоядца» (354), казанцы выглядят «яко *зверми*... ис пустыни пришедшими» (368, гл. 23); но свирепы и русские воины, которые «рыскаху, яко *зверие* по пустынямъ» (524, гл. 83). Казанцы на войне грешат пьянством: «*запивахуся* до пияна и *спяху* сномъ крепким», это свойственно и Аталыку: «*упившуся* виномъ и не успевшу ему скоро от сна востати» (354); но и русские воины не прочь «*упиватися* без воздержания... и *спати*, яко мертвы» (336, гл. 14).

Фразеологически сходно и со сходными деталями описывал автор и совсем не воинских персонажей – казанских и русских, например, казанскую царицу Сумбеку (Сююн-Бике) и русскую царицу Анастасию (первую жену Ивана Грозного). Обе они горюют из-за ужасов войны, и в непосильном горе их поддерживают под руки: Сумбека «поддержима под руце рабынями ея» (412, гл. 38); Анастасию «сам царь супружницу свою рукама своима поддержалъ» (452, гл. 52). Обе царицы горько плачут. Обеих цариц пытаются утешить: Анастасию царь «утешив...

своими словесы» (452); Сумбеку тоже «увещеваху... ласковыми словесы» (416, гл. 39), «едва отлияша ю водою и утешаху ю (ее)» (412). Кстати, эпизод отливания рыдающей казанской царицы, которую «похватиша... от *земли*... мало не *мертву*», скорее всего, восходит к «Повести о разорении Рязани», где рязанского князя, от плача «лежаща на *земли*, яко *мертвъ*... *едва отльеяша*» (194). И тут «русский» мотив также перенесен автором на казанского персонажа.

Далее обе царицы обращаются к «драгим» своим мужьям. Сумбека, хотя говорит и причитает «речью варварскаго языка своего» (412), но, в передаче автора, совсем по русской традиции: «*Кто*... горкия слезы моя *утолит*?..» (414, гл. 38); так же плачет Анастасия: «*хто* ми *утолитъ* мою горкую печаль?» (452). Обе царицы мечтают о почтовой птице, приносящей вести. Сумбека: «где возму *птицу* борзолетную... да *возвестит* случившаяся?..» (420, гл. 40); Анастасия: «кая *птица* во един час прилетит... и *возвестит* ми...» (452). Обе царицы не хотят видеть дневного света: Сумбека «в дому сидела... *света дневнаго* не зря» (420); Анастасия «припокрывся в полате своей... *света дневнаго* зрети не хотя» (452). Каждая из этих цариц напоминает птицу в гнезде: Сумбека напоминает «яко смирну птицу въ *гнезде*... в полатах ея» (410, гл. 38); Анастасия «возвратися в полаты своя, аки ластовица во *гнездо* свое» (452). Женщины казанские вместе с Сумбекой плачут «яко многия *горлицы*» (412, гл. 38); но и Анастасия плачет «яко печалная *горлица*» (552, гл. 95), и т. д.

Сходство в изображении казанцев и русских распространялось на самые разные области, подчас неожиданные. Например, в повести сходно описывались редкостные события у казанцев и у русских. Так, о небывало дорогом изделии – о шитом золотом и драгоценностями шатре казанского царя автор сообщил, что «велицыи купцы заморстии... *дивяшеся* хитрости его, глаголюще, яко: “*Несть* в наших заморских странахъ... узорочия такова, не слышено и не *видено* ни у коегождо *царя* или *кроля*”» (340, гл. 15). Но и о небывало торжественном шествии русского царя и его вельмож, одетых в золотые украшения и драгоценные наряды, автор сказал примерно то же: «вси послы же и купцы тако же *дивляхуся*, глаголюще, яко: “*Несть* мы *видали* ни в коих царствах,

ни в своих, ни в чюжих, ни на коемъ же *царе*, ни на *королех* сицевыя красоты"» (548, гл. 93).

Автор «Казанской истории» время от времени и логически довольно прозрачно указывал на сходство обеих сторон – казанцев и русских: «страшно бе видети *обоих* храбрости и мужества» (518, гл. 80); «мнози от *обою* страну падоша, аки цветы прекраснии» (468, гл. 58). Чаще всего это сходство понималось автором как некое равновесие сторон: «овогда убо мало державнии (правители) наши побеждаху казанцевъ, овогда же сами от нихъ болши сугубо побеждаеми бываху» (362, гл. 22); «яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ» (324, гл. 10). Казанский персонаж, в трактовке автора, мог обращаться за поддержкой к обеим верам вместе: так, казанский царь «втай небеснаго бога моляше по вере своей, но и русских святыхъ на помощь призываше» (376, гл. 25); другие мусульманские персонажи ссылались на учение обеих вер, на то, как сходно «пишют бо наши книги и христианския» (424, гл. 41). Иногда автор и сам не знал, чья вера воздействовала на события: «или Богъ тако сотвори, или волхвование казанских волхвовъ сие бысть, – не вемъ» (388, гл. 27).

Казанские персонажи, по утверждениям автора, дорастали до русских: наши могут посочувствовать врагу-правителю, впавшему в несчастья, но «милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго (русского правителя) злостражуща» (328, гл. 11); русские верно служат своему самодержцу, но ему же может быть так же верен и иноверный: «много добра и велику помощь сотвори, служа и помогая самодержцу своему, аще и поганъ есть» (426, гл. 42).

Больше того, в отдельных случаях, по оценке автора, казанцы даже превосходят русских в верности: «и неверный варваръ паче (лучше) нашихъ верных сотвори» (346, гл. 17). Превосходят, бывает, и в военном искусстве: «учени бо суть измаилтяне от начала своего бранем, учатся от младенства сицевым... Темъ (поэтому) силно не можемъ противитися и много смиряемся пред ними» (364, гл. 22); ведь было и так, что «разгневася Господь на руских вой, отъят от них храбрость мужество и даде поганымъ храбрость и мужество» (336, гл. 14). Наконец, еще одна область казанского превосходства – женская красота: так, казанская «царица та зело красна и в разуме премудра, яко

не обрестися таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах болярских и княжых» (416, гл. 38).

Цель автора. Столь высокое и открыто высказываемое мнение автора об иноверных, о казанцах, и о взаимном сходстве казанцев и русских, особенно сходстве положительных черт у обеих сторон, совершенно необычно для древнерусской литературы и объясняется несколькими причинами. Одна причина — биографическая — хорошо известна. Автор каким-то образом попал в плен к казанцам, долгое время, 20 лет, в привилегированном положении жил в Казани, о чем он не без удовольствия сообщил сам: «Грех же моихъ ради случи ми ся пленену быти варвары (то есть казанцами) и сведену в Казань. И данъ бысть в дарех (в подарок) царю казанскому... И взять мя к себе царь с любовию служити во дворъ свой и сотвори мя пред лицемъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесятъ (двадцать) летъ в пленении... часто и прилежно от царя вопрошахъ (расспрашивал царя) в веселии (при развлечениях) и при беседе со мною и мудръствующих честнейшихъ казанцев. Бе бо царь по премногу и меня любя, и велможи его паче меры брегуще мя» и пр. (302, гл. 1). Читал автор, вероятно, принявший ислам, и казанские летописи. Все это, надо думать, способствовало многочисленным благоприятным его оценкам Казани и казанцев.

Но авторские похвалы казанцам отнюдь не чрезмерны в произведении, которое гораздо больше осуждает иноверных, чем их хвалит. Автор, по его дальнейшему признанию, после взятия Казани возвращенный из плена, вновь принявший православие, определенный на царскую службу и пользовавшийся покровительством и любовью воеводы Симеона Микулинского, явно следил за соотношением акцентов в своем произведении и временами оправдывался перед читателями: «Да никто же мя осудит от вас о семъ, яко единоверных своих похуляюща и поганых же варваръ похваляющи» (492, гл. 67).

Похвалы Казани и казанцам допускались в большей степени не по биографическим, а по идейным причинам. Ведь Казань и казанцы — это своего рода богатейший военный трофей Ивана Грозного, есть чем похвалиться: «в лета православнаго,

и благочестиваго, и державнаго царя и великаго князя Иоанна Васильевича... всеа великия Росии самодержца, ему же дарова Богь... предивную Казань» (300). Богатство этого трофея автор всячески живописал. Например, во время штурма Казани один из русских «некий же юноша воинъ... оружие наго держа в руках своих, кровию варварскою красеющися» вбежал «в мерское святилище Махметово, в мечеть цареву (то есть казанского царя)... чая тамо некое собе налести (обнаружить) богатство, еже и бысть. И... виде по стенамъ златотканныя запоны (занавеси), на царских гробех – покровы драгия, саженыя жемчюгомъ и каменемъ драгимъ... до верха наставленых великих ларцевъ и коробей с рухломъ (добром) драгих (богатых) казанских велмож» и т. д. (528, гл. 85). Эти и иные дивные богатства Иван Грозный похвалил, «яко велика бе слава и красота царства сего», и лично осмотрел «очима своима самъ», велел переписать и «печатью своею запечатати» и поставил охрану (534, гл. 87). Хваленый трон казанского царя отослан в Москву, прекрасная Сумбека – тоже. Как не похвалить то, что уже принадлежит нам?

Еще одна идейная причина допущения положительных оценок в характеристике Казани была более широкой, чем любование автора военными трофеями, и относилась уже к авторским историческим взглядам. Автор и без обращения к теме трофеев восхвалял Казань, потому что это прекрасное место, по его мнению, исконно находилось на Русской земле и лишь затем было захвачено «погаными»: то «место на Волге, *на самой украине* Руския земли... зело пренарочито (совершенно исключительное) – и скотопажно (пастбищно), и пчелисто, и всякими земляными семяны (злаками) родимо, и овощами преизобилно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно – яко не обрестися другому такому месту по всей *нашей Руской земли* нигде же точному (похожему) красотою, и крепостию (целебностью), и угодием человеческим» (314, гл. 7). И далее в произведении неоднократно повторялась та же идея географической русскости Казани. Например: «И уведа царь и великий князь Иоанъ Васильевичь, яко издавна стоить *на Руской его земли* царство срацынское Казань, по рускому же языку – Котелъ златое дно... казанстии царие тоя страны много *Руския земли* отъемше до сего

нашего самодержца» (362, гл. 22). Хвалить исконно свое не возбраняется.

Можно также предположить, что автор «Казанской истории» исходил из какого-то кодекса рыцарственности, который он распространял на обе стороны – казанцев и русских – в рассказах о делах воинских (это догадка Э. Кинана)[50].

Однако в «Казанской истории» автором все же так часто, но не нарочито и без привязки только к рыцарственным или к каким-то иным определенным темам или лицам, использованы фразеологические параллели в рассказах о казанских и о русских персонажах, что объяснить такое всепроникающее явление лишь биографическими, политическими или сословными причинами оказывается недостаточно. Более полное объяснение заключается вот в чем: наряду с явной, главной целью – прославить победу Москвы над Казанью – у автора была неявная примирительная цель: фактически он заявил о единой человеческой природе поведения всех людей вообще. Сходство казанцев и русских явилось у автора самым частым, однако, как бы частным случаем общего человеческого сходства, которое составляют еще и упоминаемые в повести черемисы, ногайцы, турки, «фряги» (западноевропейцы), поляки, литовцы, немцы, датчане, шведы, англичане, греки, вплоть до совсем уж «иноземцев далних».

Автор и в самом деле постоянно думал об общечеловеческой основе поведения своих персонажей, неважно – русских или казанцев, и оттого он регулярно насыщал свое повествование о тех же русских или казанцах множеством философских сентенций о людях вообще. Хотя в подобной сентенциозности изложения у автора «Казанской истории» были серьезные предшественники, вроде «Хронографа 1512 г.», но все-таки эти обильные сентенции автор сочинял, цитировал или пересказывал, применяя к нужным случаям, сам. Автора интересовали преимущественно две, как сказали бы мы сейчас, проблемы человеческого поведения.

Первая – это проблема верности или же, напротив, предательства. У автора даже царь Иван Грозный возвещает общечеловеческий принцип: «Сладко бысть *всякому человеку* умрети за веру свою, паче же кому за християнскую святую» (446,

гл. 48), – то есть поощряется благородная верность каждого человека своей вере, причем не обязательно вере христианской, хотя, конечно, лучше бы христианской. Сюда же относятся и использованные автором сентенции о верности, вроде такого высказывания: «И болши сея любви несть ничто же, еже положити душю свою за господина своего или за друга» (382, гл. 25), – показательно, что эта мораль выведена автором из изложения внутриказанских дел, но по существу касается всех людей, включая и русских, и казанцев.

Немало сентенций автор направляет против всех, русских и казанских, предателей и изменников; например: «*всемъ* изменникомъ, с лестию (коварством) и неправдою служащимъ государемъ своимъ, – им же да буди вечная мука» (534, гл. 86). Автор выясняет универсальные мотивы предательства, касающиеся и русских, и казанцев, – это женская хитрость и подкуп: «И всегдашняя капля дождевная и жестокий камень пробиваетъ вскоре, а лщение женское снедаетъ премудрыя человеки» (330, гл. 12), – имеется в виду «премудрые человеки» вообще, как у русских, так и у казанцев; «и намъ мнится, яко силнейши есть злато вой безчисленых, жестокаго бо умягчеваетъ, мяхкосердое ожесточеваетъ, и слышати глуха творитъ, и слепа – видети» (354, гл. 19), опять-таки, хотя и неявно, речь идет о всех людях вообще. Предательство и усобицы ведут к гибели государства; тут автор ссылался на Евангелие: «Божие слово рече во Евангелии: "Аще *кое царство* станетъ само на ся, то вскоре разорится"» (382, гл. 26), – автор явно имел в виду любое царство, подчиняющееся этому всеобщему закону. Однако надо сказать, что предательство автор осуждал не абстрактно, а симпатизировал больше Руси и христианству и общечеловеческие истины чаще выводил, говоря о русских делах: «несть мочно и лзе просту *человеку* со змием дружитися, и кормити его от руку своею всегда... и приучити в пазусе (за пазухой) носити и не снедену быти от него... Тако и от злаго слуги своего, невернаго раба *иноязычнаго*, не мочно есть ухранитися и убрещися у него» и пр. (428, гл. 43).

Вторая проблема, которой автор посвятил многие свои сентенции, – это общие основы деятельности всех людей. В делах главное – угодить Богу. Автор снова ссылается на святые кни-

ги: «Писано во святых книгахъ: “Во *всяком языце* творяи волю Божию и делаяи правду, приятенъ ему есть”» (428, гл. 42); «но что может *человекъ* сотворити, аще не Богъ попустит его» (498, гл. 69), – речь опять идет о любых народах и любом человеке, но, правда, Бог подразумевается христианский. По автору «Казанской истории», общечеловеческая основа поведения – прежде всего христианская. Но в этих пределах находится большое поле общности самых разных народов и людей: «*всяк бо человекъ*, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественых, всемъ искусенъ бывает и можетъ многостражущим в напастех спомогати» (360, гл. 22); «и весте сами боле мене: кто венчается (ублаготворяется) без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, жнетъ бо веселиемъ и радостию. И купец тако же...» и т. д. (490, гл. 66). Деятельную жизнь всех людей пресекает смерть: «Но, о прегоркая смерти злая, не милующа красоты человеча, ни храбра мужа щадящи, ни богата почитающи, ни царя... но вся равно от жития сего поемлющи и в трилакотнемъ (трехлокотном) гробе темнем полагаше» (492, гл. 67), – все это верно для всех, но упоминание именно темного гроба свидетельствует опять-таки о христианах.

Подведем итог. Автор «Казанской истории» не только написал большой исторический труд, но обогатил его высказываниями, ведущими к некоей не сформулированной прямо и не систематизированной «философии» общечеловеческого сходства, тем не менее определившей беспрецедентные литературные особенности его произведения, – смелое преобразование литературного этикета и этническое расширение содержания традиционных сентенций.

Чем была порождена подобная «философия»? Скорее всего, некоей примиряющей русских и казанцев целью автора. Однако большего сказать пока не можем: тут нужны дальнейшие исследования.

За сто лет до автора «Казанской истории» тоже надолго оказавшийся в иноверной среде Афанасий Никитин лишь метался в своем «Хождении за три моря» от православного отрешенного взгляда на чуждые народы и веры к высказываемой им по-тюркски более дружественной точке зрения на буддистов и мусульман и, кажется, склонялся к смутной идее единого

бога для всех народов. На этом фоне видно, насколько целенаправленней идейно и изощреннее в литературном отношении был автор «Казанской истории», который хорошо вписался в начавшийся с XV в. на Руси процесс литературного приятия явно чуждых, даже враждебных нам иностранных правителей и народов поездившими за рубеж, бывалыми людьми, состоявшими на царской службе («Сказание о Дракуле воеводе мутьянском» Федора Курицына, «Сказание о Магмете-Салтане» Ивана Пересветова). На «Казанской истории» в XVI в. этот процесс не закончился (ср. «Повесть о нахожении Стефана Батория на град Псков»). Нараставшая активность контактов, по-видимому, способствовала упрочению в России XVI в. писательских выступлений по поводу того, что даже страшные иноземные злодеи и отвратительные иноверцы в чем-то такие же люди, как и мы, и что у них и поучиться не грех.

5. «Луцидариус»

Начав данную серию очерков со «Сказания об Индийском царстве», закончим ее «Луцидариусом», который отчасти перекликается со «Сказанием»: нарушаем хронологическую последовательность изложения ради тематической обрамленности работы. «Книга, именуемая Лусидариосъ, сиречь Златы бисеръ» была переведена на Руси в первой трети XVI в., кажется, не позднее 1531 г., с немецкого издания 1485 г.[51] и, по-видимому, уже с самого начала бытовала на Руси с различными изменениями и переделками. Несмотря на основополагающие работы об истории текста памятника (прежде всего исследования Н. С. Тихонравова и А. С. Архангельского), исследование его далеко от завершения. Сейчас нужна и собственно литературоведческая характеристика «Луцидариуса», предлагаемая ниже. До нас русский «Луцидариус» дошел только в списках XVII в. в трех или четырех редакциях, из которых мы рассмотрим наиболее полную, так называемую Обширную редакцию (она же вторая редакция, которая, следовательно, сформировалась после 1531 г.).

В предисловиях к Обширной редакции «Луцидариуса» (а в разных списках бывают разные предисловия) содержание кни-

ги провозглашается драгоценным, и в подтверждение приводится толкование второго названия «сея книги, иже именуется Аирогемма, сиречь Златъ бисеръ, еже назнаменуетъ намъ, коль добра книга сия»

Ценность содержания книги заключалась в ее многоцелевом предназначении, прежде всего в том, что «Луцидариус» мыслился как произведение просветительное. Главное название произведения в русских списках — «Лусидариосъ» — восходит к латинскому названию (ср.: lucidare — выяснять) и может быть переведено как «разъяснитель, растолкователь». Эта просветительная цель и подчеркивалась в предисловиях: «Лусидариюсъ, сиречъ Просветитель, яже глаголетъ ко протолкованию... въ сей книге обрящетъ разумныя велия учительства» (134–135). И действительно, «Луцидариус» старательно занимался пояснениями и разъяснениями, что видно по многочисленным его обращениям к читателям «разумевать» излагаемое: «по семъ разумеи», «по сему познаваи», «треба разумети», «потреба же намъ знати» и т. п. (422, 424, 439—442, 462, 466, 471).

Просветительство «Луцидариуса», разумеется, имело сугубо книжный, схоластический характер («книги учатъ насъ тако» 441), и поэтому сообщались только сведения, почерпнутые из различных сочинений, особенно же из «Писания»: «Писание глаголетъ», «въ Писании слышимъ сие», «именуется во святомъ Писании», «святое Писание поведаетъ», «сие есть ведомо отъ Писания» и т. д. (422, 425, 438, 443, 444, 451).

Вторую цель «Луцидариуса» составила быстрая доступность его сообщений: «что в Писании шыроко имать вкупе собратися, то обрящемъ здесь въ краткихъ словесехъ лепо объяти» (135); «во иныхъ книгахъ что обрящемъ сокровенно, въ сеи же книге положено откровенно... въ краткихъ словесехъ зело лепо объявися» (421); «всяки человекъ, кто премудрости хощетъ... безтрудно обрящетъ» (422).

Ради легкости усвоения сведений «Луцидариус» был составлен по главкам в форме вопросов некоего ученика и ответов учителя («учитель и ученикъ глаголютъ вкупе» — 421; «ученикъ вопрошаетъ... учитель отвещаетъ» — 429), причем главки, вопросы и ответы нередко бывали довольно кратки. Вот один из крайних случаев краткости: «Ученикъ. Где суть Евва сотворе-

на? – Учитель. Въ раи от ребра Адамова» (427). Ссылки на книги были упрощены до предела: «о семъ книгу Судеи исраилевыхъ читаи» (449); или совсем кратко и неопределенно: «некия глаголють книги» (443), «философи пишутъ» (423), «нецыи глаголютъ» (462), «писано есть» (465). Или так же решительно: «а чей сынъ, о семъ не писано» (428).

«Луцидариус» имел и третью цель – претендовал, как известно, на энциклопедичность – охватить «вся, яже зрятъ очи наши на небеси и на земли» (417). Благодаря «бисерной» краткости сообщений и массе поясняемых названий (преимущественно географических и этнических) в «Луцидариусе» удалось собрать огромное количество разнообразнейших сведений. Эта энциклопедия, надо отдать должное, была не лишена систематичности. Первая ее часть (67 глав) рассказывала о мироздании, «како миръ сеи сотворенъ и разделенъ и како и конецъ приять имать» (452); вторая часть (40 глав) — о категориях богословских и церковных. Каждая из частей тематически также не была хаотичной. К примеру, первая часть начиналась со сведений о Боге; затем переходила к сотворению мира и его частей, в том числе к сведениям о небесах и солнце; затем рассказывалось о некоторых библейских личностях, начиная с Адама; далее следовало повествование о частях земли – Азии, Европе, Африке; потом говорилось о разных природных явлениях, в частности о кометах, молнии, снеге, граде, дожде и пр.; и завершалась первая часть рассуждениями о человеке и его теле от его рождения и до кончины.

В силу безграничности своего энциклопедизма «Луцидариус» легко допускал включение самых разных рассказов, и обильные следы составительской компиляторской работы оставались незаглаженными. Так, структура «Луцидариуса» получилась очень неоднородной. Среди преобладающих коротких главок с одним вопросом и одним ответом вдруг попадаются главы со многими вопросо-ответами, к тому же ответами очень пространными. Таковы, например, главы 2, 4 и 6 о создании мира, об аде и о небесах и особенно главы 18–25 «о устроении сего мира вселенныя», где чрезвычайно много рассказывается об Индии и Месопотамии. Иногда вопросо-ответы заменены диалогом ученика и учителя.

Наконец, энциклопедизм «Луцидариуса» обладал даже некоторой углубленностью и разносторонностью, и поэтому к отдельным вопросам «Луцидариус» мог возвращаться снова и снова, не пытаясь свести сведения воедино, но дополняя тему. Например, в главе 6 учитель кратко рассказал о том, что «межъ земли и небомъ» (426), однако в главе 26 ученик снова попросил дополнительных пояснений на эту тему: «Еще повеждь ми о преждереченномъ, еже ты поведалъ ми еси» (439). Или в начале «Луцидариуса» (главы 4—5) повествуется об аде, и о нем же с новыми подробностями рассказывается в конце книги (вторая часть, главы 27—28). И вообще в книге много мотивов повторяется с разными вариациями, указывая на сборность состава «Луцидариуса» и его терпимость к повторениям и напоминаниям сведений.

Четвертая цель «Луцидариуса» (по крайней мере его первой части) — показать, насколько захватывающе удивителен и парадоксален мир: «въ сеи книге дивная намъ дела Божия показаны» (417). Например, есть «дивныи птицы, украшены пречуднымъ периемъ, иже бо въ нощи блистаютъ, яко свещи» (435); «есть источникъ дивныи, иже отъ него зажигаются свещи» (436); есть «предивны овцы, волна (шерсть) ихъ бела дражаищи шолку, и исъ тое волны делаютъ драгия царския порфиры» (439); «въ сеи вещи дивная мудрость» (453) и т. д. и т. п. Соответственно ученик эмоционально откликается на сообщенные ему чудеса: «Удивления зело великаго достойны сии...» (433); «радостно сего слышати желаю» (438); «любезно хощу слышати» (455) и пр.

Увлекательность «Луцидариуса» — чисто интеллектуальная. Ученик и учитель не непосредственные участники событий, а сторонние наблюдатели явлений, философы: «зримъ, по сему можемъ то разумети» (422); «еже видимъ... то разумеи» (446). По «Луцидариусу», удивительность мира проистекает из его умозрительной парадоксальности. Парадоксы интеллектуально волнуют ученика. Например, учитель сообщает ему, что вся «земля въ водахъ морскихъ силою Божиею устроена посреде и плаваетъ на воде, яко жолтокъ въ яице, но не можетъ двинутися, понеже ни на чемъ же стоитъ и никто ея, кроме силы Божия, не держитъ». — «Ученикъ. Како земля ни на чемъ же (стоит), а

не можетъ поколебатися?! Сие мя ужасаетъ слово!» (428). Или учитель говорит, что «есть островъ Капрофанесъ на море въ пучине, и тои островъ во весь годъ однакъ зеленъ. – Ученикъ. Удивления достоино, чесо островъ тако всегда зеленъ?» (430). Нередко и сам ученик натыкается на парадоксы: о свете до создания солнца – «кои светъ былъ тогда, прежде неже солнце сияло?» (427); о планете Венера – «како сие случится, еже та вечерняя звезда бываетъ одна же утренняя?» (443); о странных дождях – «како то бываетъ, еже дождь черви отъ воздуха дождитъ?» (446) и мн. др.

Пятая цель «Луцидариуса» – уберечь читателей от опасностей окружающего мира: «како... людемъ сея вселенныя зла не чинятъ» (433). Дело в том, что мир в «Луцидариусе» представляется безмерно грозным и пугающим. Пространные рассказы «Луцидариуса» особенно устрашают, перечисления свойств явлений подавляют. Так, ад обладает почти бесконечными ужасными свойствами, что видно по множеству его названий: «Адъ именуется во святомъ Писании ровъ смертны... занеже души, которыи тамо внидутъ, никако могутъ изыти. Еще именуется озеро огненное, зане... не прохладятся никии же души, тамо влазше. Именуется еще земля тмы, зане путь, иже ко аду идетъ, тои есть полнъ всегда дыма и смрада» (425. Всего толкуется 12 или больше названий ада).

Но и Индия, находящаяся ближе всех земель к раю, жутка из-за населяющих ее существ: «Тамо есть люди, сами убиваютъ сродниковъ (близких) своихъ состаревшихся; и егда своихъ отцовъ и матереи ядятъ, тогда зело радостныи пиръ сотворяютъ»; есть «родъ техъ людеи, им же пяты превращени, и ходятъ тыломъ впредь (пятки повернуты и ходят задом наперед), имеютъ по 18 перстовъ у рукъ и у ногъ, то же и главы у нихъ песьи и нохти... и лаютъ, яко пси»; «родъ тамо есть люди, именуеми сиклопеси, имеютъ токмо по единои нозе и рыщутъ борзее птичия летания» и т. д.; «тамо есть велицы змиеве... людеи пожираютъ, и зело быстры плавати по морю» (431–433) и т. д. Сравнительно с «Александрией» или со «Сказанием об Индийском царстве» сводка сведений в «Луцидариусе» явна более сумрачна, «понеже дивно и ужаса исполнено видети есть» (432).

Даже небеса, по рассказу «Луцидариуса», отнюдь не уютны. «Небеса суть трои»: первое небо — «отъ земли даже до луны», там «суть лукави дуси, те намъ пакости деютъ»; небо «второе есть отъ луны даже до звездъ», там «воздухъ велми огненъ»; небо «третие, именуемое огненное, на томъ самъ всесилны Богъ со всеми небесными силами» (426—427).

Ничего ласкового в «Луцидариусе» нет: «ничто же видено благо» (441). Буквально лишь в двух-трех местах памятника упоминается что-то приятное: «источники... изменяются въ лете во студеность, да намъ будутъ отъ зноя на прохлаждении; въ зиме же теплы. Сие все намъ строя человеколюбецъ Богъ, пекиися всегда о потребныхъ намъ» (448). Но такие источники скорее исключение из правила: вот, напротив, «некии источникъ... иже въ день горячести ради великои, а въ нощи студености ради прикоснутися его ради или взяти отъ него воды никако возможно» (437—438).

Люди окружены огромным безлюдным миром, вредоносными областями, где «никто же живыхъ человекъ тамо идти можетъ» (427), где «невозможно тамо человекомъ пребывати... жития человекомъ несть же» (429), «несть жилища» и т. п. Жизнь цивилизованных людей тоже не благополучна; во всяком случае, «Луцидариус» предпочитает упоминать ее трагические моменты: «Ученикъ вопрошаетъ. Коль долго былъ Адамъ въ раю? — Учитель. Несть боле, ткмо два часа» (427). Еще: «О гордость мертвая!.. и ныне превращаешь престолы силныхъ» (435); «но егда царство котораго монарха великого пременитца судбами Божиими имать» (446). Или: человек, «егда же старъ имать быти, тогда едва и теплыми шубами согретися имать» (451); «всякии киижо человекъ... требуетъ принимати во старости своей целбу и ищетъ помощи многотрудно плоти своеи» (449).

Столь интеллектуально суровый энциклопедический труд учил разбираться в природе опасных явлений, схоластически деля их на составляющие части и иногда объясняя (фантастически), как эти части взаимодействуют, а в результате порождают тот или иной катаклизм. Например: «Ученикъ. Како сие бываетъ, еже земля зеваетъ (разверзается)? — Учитель. Слыши и разумеваи! Земля... подобна телу человеческому, понеже камени

имеетъ вместо костеи, корение древесъ... вместо жилъ, древеса и траву – вместо власъ. И егда внидутъ ветви въ подземная скважня и выразитися (выбраться) не могутъ, тогда терзаютъ землю и колеблютъ, еже отъ великия силы преисподнихъ ветровъ земля отверзается» (440).

Однако время от времени «Луцидариус» устами словоохотливого учителя резко отрезал и увещевал: «не дерзнемъ дале глаголати» (423); «Богу вся суть возможна» (429); «аще и зело хощеши постигнути недоведомыи глубины судебъ Божиихъ, но не можеши болши разумети» (439); «сие же достоитъ разумети, еже невозможно словомъ изрещи» (471). Да и сам любознательный ученик признавал: «Превосходитъ ума человеческаго Божия чюдотворения» (439).

Из всех перечисленных целей «Луцидариуса» только последнюю цель удается связать с историческими обстоятельствами, да и то гипотетически. Сдержанно-угрюмое философствование «Луцидариуса», вероятно, было как-то созвучно суровому времени Василия III (вокруг Руси – сплошные опасности). Это умонастроение, по-видимому, не распространилось широко. Его проявления еще можно найти, пожалуй, лишь в «Хронографе 1512 г.», составленном в 1516–1522 гг.[53] Но «Хронограф» все же не завершался так сурово, и в нем почти что отсутствовали интеллектуально-схоластические упражнения в «разумении» опасностей мира, преобладающие в «Луцидариусе».

Любопытна также возможная параллель между «Луцидариусом» и «Воскресенской летописью» под 1531–1533 гг. В конце первой части «Луцидариуса», в главках 46–48, рассказывается о природных явлениях, некоторые из которых могут считаться зловещими знамениями, о кометах, звездопадах, грозах. Блистание кометы считается предвестником гибели великого правителя: «Ученикъ. Скажи ми о звезде комите. – Учитель. Комита не светъ, или, рещи, не облистаетъ никако; но егда царство котораго монарха великого пременитца судбами Божиими имать, тогда комита являетъ свое блистание». Далее говорится о других природных явлениях, вызывающих опасения: «Ученикъ. Повеждь ми о семъ, яко видится намъ, еже звезды падаютъ съ небесе. – Учитель. ...А еже видимъ, аки звезды въ нощи съ небесъ падаютъ, то... въ презелнои высоте на аере бываетъ

великая буря... Ученикъ. Повеждь ми, како бываетъ на воздусе во время дождя блистание и громъ. – Учитель. ...на высоте буря толь велика... и то есть громъ...» (446–447). Соответственно в конце «Воскресенской летописи» (летописном своде 1542 г.) указываются такие же зловещие знамения, скопившиеся перед смертью Василия III (в других летописях нет). Трижды являлись кометы: «явльшеся звезда велиа... лучъ сиаше отъ неа вверхъ велий»[5]. Дважды были бури с громом: «бысть туча... страшна и громъ велий и молниа»; «взошла туча велика страшна... молниа велиа безпрестани сиаа и громъ и вихоръ» (282, 283). А непосредственно перед кончиной Василия III произошел звездопад: «бысть знамение въ звездахъ... передъ его преставлениемъ многие звезды падоша съ небеси на землю» (286). Сходство этих сумрачных мотивов в обоих памятниках все-таки настолько общее, что позволяет предполагать только отражение в них общей же атмосферы тех лет, причем в «Луцидариусе» – с гораздо меньшей определенностью. «Луцидариус» остается уникальным толковательно-энциклопедическим произведением первой половины XVI в., так как близкие по опасливой настроенности натурфилософские аналогии ему среди памятников того времени, в сущности, отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. М., 1893. С. 11, 59–63. Краткое изложение результатов наблюдений В. М. Истрина см.: История русской литературы. М.; Л., 1946. Т. 2, ч. 1. С. 144–145 (раздел написан М. О. Скрипилем). См. также: *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.). М., 2003. С. 136–143.

[2] Датировку списков см.: *Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 172–173; *Сперанский М. Н.* Сказание об Индейском царстве // Известия по Отделению русского языка и словесности. Л., 1930. Т. 3, кн. 2. С. 370.

[3] См.: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Исследование. С. 239; Приложения: II. Александрия второй редакции. С. 179, 188–189, 196, 199, 203, 220, 221, 223, 226, 232, 234. Далее страницы этого издания текста указываются в скобках.

См.: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование. С. 241; *Он же.* Сказание об Индейском царстве. С. 62.

См.: *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода. С. 141; *Он же.* Сказание об Индейском царстве. С. 31, 61–64.

Сперанский М. Н. Сказание об Индейском царстве. С. 382–383, 419–420.

«Сказание о Индискомъ царствии» // Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков / Сост. Н. К. Гудзий. 6-е изд., испр. М., 1955. С. 168–170. Далее страницы не указываются ввиду небольшого объема текста памятника. Изданный здесь текст кирилло-белозерского списка наиболее близок из всех списков к протографу второй редакции «Сказания» (см.: *Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. С. 63). Более поздние переиздания этого текста менее тщательны, чем у Н. К. Гудзия.

[8] См.: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование. С. 143–242, 251.

[9] Ср. «Повесть временных лет» под 946 г.: деревлян княгиня Ольга «работе предаеть»; под 986 г.: евреи — «насиляху имъ еюптяне работою» (Памятники литературы Древней Руси: XI — начало XII века / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1978. С. 74, 108); ср. второе и четвертое «Слова» Серапиона Владимирского: «порабощени быхомъ оставшеи горкою си работою от иноплеменник», «предани быхом иноплеменникомъ... на горкую работу» (Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Тексты «Слов» подгот. В. В. Колесов. М., 1981. С. 444, 452).

[10] См.: *Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. С. 14.

[11] Предисловие к «Сказанию» по волоколамскому списку // *Дмитриева Р. П.* Приемы редакторской правки книгописца Ефросина... // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. С. 267.

[12] Факт, хорошо известный. См., например: *Творогов О. В.* Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994. С. 88. Ср. «Хронограф 1512 г.» // ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. С. 417, 424, 435.

В латинском предшественнике «Сказания» упоминается лишь одно зеркало, притом не стеклянное. См.: *Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. С. 59.

[14] Опираюсь на следующую ценную работу: *Рыбина Е. А.* Зеркала в средневековой Руси (проблема атрибуции, публикация оправ с изображениями) // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. Речь, правда, идет о маленьких стеклянных зеркалах, заключенных в складные оправы (типа современных пудрениц) и широко

распространившихся в Европе с XIII в., а в Новгороде и Пскове обнаруживаемых в слое рубежа XIV–XV вв.; изображения на некоторых оправах имеют аналогии с изображениями на новгородских печатях первой четверти XV в. (см. с. 106, 107, 114, 117).

[15] На опущение названий, сокращения и непоследовательность изложения во второй редакции «Сказания» указывали В. М. Истрин и М. Н. Сперанский (*Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. С. 31, 39, 63 и др.; *Сперанский М. Н.* Сказание об Индейском царстве. С. 376, 383, 388).

[16] См., например: *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода. С. 136–139; *Он же.* Сказание об Индейском царстве. С. 14.

[17] О том, что предисловие и послесловие имелись во второй редакции «Сказания», а затем были опущены при написании кирилло-белозерского списка, см., например: *Дмитриева Р. П.* Приемы редакторской правки книгописца Ефросина... С. 266–267.

[18] Ср. оценку, данную М. Н. Сперанским: вторая редакция перерабатывала предшествующий текст, «оставляя то, что носило характер описания, а не повествования... перенося центр тяжести на перечень диковинок и богатств Индийского царства» (*Сперанский М. Н.* Сказание об Индейском царстве. С. 420).

[19] К византийскому царю Мануилу II во время церемонии коронования тоже обращались с аналогичными сентенциями. Эта часть царской церемонии интересовала русских книжников: русский путешественник Игнатий Смольнянин написал об этом в своем «Хождении» конца XIV в. (летописной редакции), затем рассказ о венчании Мануила переписывался в виде самостоятельной статьи. См.: История русской литературы. Т. 2, ч. 1. С. 228 (раздел написала В. П. Адрианова-Перетц).

[20] Ср., например, «Хронику» Георгия Амартола и «Летописец Еллинский и Римский» (*Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 340; Летописец Еллинский и Римский / Изд. подгот. О. В. Творогов и С. А. Давыдова. СПб., 1999. Т. 1. С. 287).

[21] Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М., 1982. С. 184.

[22] Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века / Текст памятника подгот. Н. А. Казакова. М., 1981. С. 488. Далее страницы указываются в скобках.

[23] Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская и Я. С. Лурье. С. 462. Далее страницы указываются в скобках.

О времени прибавки отрывка к «Житию» см.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 81.

[25] Древнерусские предания: (XI–XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982. С. 133.

[26] Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века / Текст памятника подгот. Л. И. Журова. М., 1984. М., 1984. С. 54.

[27] Там же / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. С. 64, 66.

[28] В. М. Истрин считал, что «вторая редакция могла образоваться в конце XIV или в начале XV века» (*Истрин В. М.* Сказание об Индейском царстве. С. 63).

[29] *Клосс Б. М.* Избранные труды. М., 2002. Т. 2. С. 341–345.

[30] Ср. начала разных списков XVI–XIX вв.: *Дмитриев Л. А.* Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 480–509 (№ 1, 2, 3, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 28, 32–34, 36, 37, 40, 42–44, 47, 48, 53–56, 59, 60, 62, 68, 72, 77, 81, 84 и пр.); *Клосс Б. М.* Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 136 (№ 2), 137 (примеч. I, 1); *Зимин А. А.* Сказание о Мамаевом побоище Основной редакции по Ермолаевскому списку // Там же. С. 224, 226.

[31] *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 481 (№ 1). Список конца 1520-х – начала 1530-х гг. Его датировку см.: *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. 2. С. 334–335.

[32] *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 486 (№ 21). Список 1530-х гг. Его датировку см.: *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. 2. С. 335, 347.

[33] *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 482 (№ 2). Список XVI в.

[34] *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 486 (№ 19, 20). Списки XVII в.

Сказания и повести о Куликовской битве / Текст Основной редакции подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. С. 31. Далее страницы указываются в скобках. Рассматриваем только Основную редакцию «Сказания о Мамаевом побоище».

[36] См.: *Салмина М. А.* Повесть о Куликовской битве летописная // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2, ч. 2. С. 244–246. Названия этой повести в списках: «Побоище великого князя Дмитрия Ивановича на Дону съ Мамаемъ»; «О побоищи, иже на Дону, и о томъ, что князь великии бился съ Ордою».

[37] Памятники Куликовского цикла / Текст «Летописной повести» по «Софийской первой летописи» старшего извода подгот. В. А. Кучкин. С. 32. Далее страницы указываются в скобках.

[38] Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века / Текст памятника по Олонецкому списку подгот.

М. Д. Каган-Тарковская. С. 602. Далее страницы указываются в скобках.

В большинстве списков читается слово «мудрости», а не дрость». См.: Сочинения И. Пересветова / Тексты подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956. С. 170, 377.

[39] См.: *Лурье Я. С.* Комментарии к тексту Музейного списка Полной редакции // Сочинения И. Пересветова. С. 308–309.

[40] См., например: *Филюшкин А. И.* История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998. С. 27–32, 36–54.

[41] См.: *Левина С. А.* Летопись Воскресенская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2, ч. 2. С. 40–41.

[42] Об официально-историческом повествовании XVI в. *Демин А. С.* О древнерусском литературном творчестве. М., 2003.

[43] Различные истолкования пересветовского понятия «правда» см., например: *Каравашкин А. В.* Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000. С. 45, 50 и др.; *Юрганов А. Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 77–81; *Лихачев Д. С.* Иван Пересветов и его литературная современность // Сочинения И. Пересветова. С. 33–34, 44–45; *Лурье Я. С.* Комментарии к тексту Музейного списка Полной редакции // Сочинения И. Пересветова. С. 283.

[44] Концовка // Сочинения И. Пересветова. С. 169.

Иван Пересветов в «Большой челобитной»: «Кому ни подамъ *память*, и оне до тебя, государя, велможи твои, не донесутъ» (606). Сильвестр Благовещенский в «Домострое»: «Аще мужь самъ того не творитъ, что в сей *памяти* писано...» (Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1985. С. 122; см. также комментарии В. В. Колесова: Там же. С. 580); Ермолай-Еразм в «Повести о Петре и Февронии»: «о преблаженная супруга, да помолитеся о нас, творящих верою *память* вашу!» (Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева. С. 646).

[46] См.: *Волкова Т. Ф.* Казанская история // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2, ч. 1. С. 451.

[47] Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 300. Далее страницы указываются в скобках.

[48] *Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 365, 369.

[49] Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1981. С. 192.

[50] См. об этом: *Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Т. 1. С. 368–369.

[51] См.: *Буланина Т. В.* Луцидариус // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 72–76. Здесь же и основная библиография.

[52] *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях: по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 135. Далее страницы этого издания указываются в скобках.

К сожалению, публикуемый список Соловецк., № 350 (261) местами дефектен (стерты, искажены либо пропущены слова и фразы), а также отражает дефекты своего протографа (иногда пропущены упоминания об ученике или об учителе, иногда пропущен вопрос, а однажды выпущены две главы – 29 и 30 во второй части).

[53] О пессимистическом умонастроении составителей «Хронографа 1512 г.» см.: *Демин А. С.* О древнерусском литературном творчестве. С. 227, 234.

[54] ПСРЛ. СПб., 1859. Т. 8 / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. С. 278, 280, 283. Далее страницы указываются в скобках.